

андрей вознесенский • ахиллесово сердце





**А н д р е й
Вознесенский**



**Ахиллесово
с е р д ц е
стихи**



**Издательство
«Художественная
литература»
Москва 1966**

Р 2
В 64

Художник
В. М е д в е д е в



$\frac{7-4-2}{86-06}$

**Ахиллесово
с е р д ц е**



Плач по двум нерожденным поэмам

●

Аминь.

*Убил я поэму. Убил, не родивши. К Харонам!
Хороним.
Хороним поэмы. Вход всем посторонним.
Хороним.*

*На черной Вселенной любовниками
лежат две поэмы, отравленными
как белый бинокль театральный.
Две жизни прижались судьбой половинной —
две самых поэмы моих
соловьиных!*

*Вы, люди,
вы, звери,
пруды, где они зарождались
в Останкине,—
встаньте!
Вы, липы ночные,
как лапы в ветвях хиромантии,—
встаньте,
дороги, убитые горем,
довольно валяться в асфальте,*

*как волосы дыбом над городом,
вы встаньте.*

*Раскройте, гробы,
как складные пожи гиганта,
вы встаньте —
Сервантес, Борис Леонидович,
Браманте,
вы б их полюбили, теперь они тоже останки,
встаньте.*

*И Вы, Член Президиума Верховного Совета
товарищ Гамзатов,
встаньте,
погибло искусство, незаменимо это,
и это не менее важно,
чем речь
на торжественной дате,
встаньте.
Их гибель — судилище. Мы — арестанты.
Встаньте.*

*О, как ты хотела, чтоб сын твой шел чисто
и прямо,
встань, мама.*

*Вы встаньте в Сибири,
в Париже, в глухих
городшках,
мы столько убили
в себе,
не родивши,
встаньте,*

*Ландау, погибший в косом лаборанте,
встаньте,
Коперник, погибший в Ландау галантном,
встаньте,
вы, девка в джаз-банде,
вы помните школьные банты?
встаньте,*

*геройские мальчики вышли в герои, но в анти,
встаньте,
(я не о кастратах — о самоубийцах,
кто саморастратил
святые крупницы),
встаньте.*

*Погибли поэмы. Друзья мои в радостной
панике —
„Вечная память!“
Министр, вы мечтали, чтоб юнгой
в Атлантике плавать,
Вечная память,
громовый Ливанов, ну, где ваш несыгранный
Гамлет?
вечная память,
где принц ваш, бабуся? А девственность
можно хоть в рамку обрамить,
вечная память,
зеленые замыслы встаньте как пламень,
вечная память,
мечта и надежда, ты вышла на паперть?
вечная память!..*

Аминь.

*Минута молчанья. Минута — как годы.
Себя промолчали — все ждали погоды.
Сегодня не скажешь, а завтра уже
не поправить.*

Вечная память.

*И памяти нашей, ушедшей как мамонт,
вечная память.*

Аминь.

*Тому же, кто вынес огонь сквозь
потраву,—
Вечная слава!
Вечная слава!*

1965



В дни неслыханно болевые
быть без сердца — мечта.
Чемпионы лупили навывлет —
ни черта!

Продырявленный точно решёта,
утешаю ажиотаж:
«Поглазейте в меня, как в решётку,—
так шикарен пейзаж!»

Но неужто узнает ружье,
где,
привязана нитью болезненной,
бьешься ты в миллиметре от лезвия,
ахиллесово
сердце
мое?!

Осторожнее, милая, тише...
Нашумело меняя места,
я ношусь по России —
как птица
отвлекает огонь от гнезда.

Все болишь? Ночами пошаливаешь?
Ну и плюс!
Не касайтесь рукою шершавую —
я от судороги — валюсь.

Невозможно расправиться с нами.
Невозможнее — выносить.
Но еще невозможней —
вдруг снайпер
срежет
нить!

1965

**Неизвестный — реквием
в двух шагах, с эпилогом**



Памяти лейтенанта Советской Армии Эрнста Неизвестного, павшего в атаке 2-го Украинского фронта.

Лейтенант Неизвестный Эрнст.
На тысячи верст кругом
равнину утюжит смерть
огненным утюгом.

В атаку взвод не поднять,
но сверху в радиосеть:
«В атаку — зовут — твою мать!»
И Эрнст отвечает: «Есть».

Но взводик твой землю ест.
Он доблестно недвижим.
Лейтенант Неизвестный Эрнст
идет
наступать
один!

И смерть говорит: «Прочь!
Ты же один, как перст.
Против кого ты прешь?
Против громады, Эрнст!

Против —

четырёхмиллионнопятисотсорокасемитысячевосемь-
сотдвадцатитрёхквдратнокплометрового чудища
против,—

против армий, флота,
и угарного сброда,

против —

культургервышибал,

против национал-социализма,

— против!

Против глобальных зверств.

Ты уже мертв, сопляк?..

«Еще бы»,— решает Эрнст

И делает

Первый шаг!

И Жизнь говорит: «Эрнк,

живые нужны живым.

Качнется сирень по скверам

уж не тебе — им,

не будет —

1945, 1949, 1956, 1963 — не будет,

и только формула убитого человечества станет —

$3\ 823\ 568\ 004 + 1,$

и ты не поступишь в Университет,

и не перейдешь на скульптурный,

и никогда не поймешь, что горячтй гипс пахнет

как парное молоко,

не будет мастерской на Сретенке, которая запирается

на проволочку,

не будет выставки в Манеже,

и 14 апреля 1964 года не забежит Динка и не положит на

гипсовую модель мизинца с облупившимся маникюром,

и она не вырвется, не убежит
и не прибежит назавтра утром, и опять не убежит,
и совсем не прибежит,
не будет ни Динки, ни Космонавта (вернее, будут, но не
для тебя, а для белесого Митька Филина, который не
вылез тогда из окопа),
а для тебя никогда, ничего —
не!

не!
не!..

Лишь мама сползет у двери
с конвертом, в котором смерть,
ты понимаешь, Эрик?!
«Еще бы», — думает Эрнст.

Но выше Жизни и Смерти,
пронзающее, как свет,
нас требует что-то *третье*, —
чем выделен человек.

Животные жизнь берут.
Лишь люди жизнь отдают.

Тревожаще и прожекторно,
в отличие от зверей, —
способность к самопожертвованию
единственна у людей.

Единственная Россия,
единственная моя,
единственное спасибо,
что ты избрала меня.

Из Ташкентского репортажа



Помогите Ташкенту!

Озверевшим штакетником
вмята женщина в стенку.

Помогите Ташкенту!

*Если лес — помоги,
если хлеб — помоги,
если есть — помоги,
если нет — помоги!*

Ты рожаеть, Земля.

Говорят, здесь красивые горные встанут массивы...
Но настолько ль красиво,
чтоб живых раскрошило?

Я, Земля, твое семя,

часть твоя — как рука или глаз.

В сейсмоопасное время
наша кровь убивает нас!

С материнской любовью

лупишь шкафом дубовым.

Не хотим быть паштетом.

Помогите Ташкенту!..

На руинах как боль
слышны аплодисменты —
ловит девочка моль.

Помогите Ташкенту!

В парке на карусели
кружит пара всю ночь напролет.
Из-под камня в крушенье,
как ребенок, будильник орет!

Дым шашлычники жарят,
а подземное пламя
лизет снизу базары,
как поднос с шашлыками.

Сад над адом. Вы как?
Колоннада откушена.
Будто кукиш векам
над бульваром свисает пол-Пушкина.

Выживаем назло
сверхтолчкам хамоватым.
Как тебя натрясло,
белый домик Ахматовой!

*Если кровь — помогите,
если кров — помогите,
где боль — помогите,
собой — помогите!*

Возвращаю билеты.
Разве мыслимо бегство
от твоих заболевших,
карих, бедственных!

Разве важно, с кем жили?

Кого вызволишь — важно.

До спасенья — чужие,
лишь спасенные — ваши.

Голым сердцем дрожишь,
город в страшной ладони пустыни.

Мой Ташкент, моя жизнь,
чем мне стать, чтобы боль отпустила?

Я читаю тебе
в сумасшедшей печали.
Я читаю Беде,
чтоб хоть чуть полегчало.

Разве знал я в тот год,
треугольная груша Ташкента,
что меня трясанет
грушевидным твоим эпицентром!

Как шатает наш дом.
(как ты? цела ли? не поцарапало? пытаюсь
дозвониться... тщетно...)

Зарифмую потом.
Помогите Ташкенту!

*Инженер — помогите.
Женщина — помогите.
Понежней помогите —
город на динамите.*

Мэры, звезды, студенты,
липы, возчицы хлеба,
дышат в общее небо.
Не будите Ташкента.

Как далось это необыкновенно недешево.
Нету крыш. Только небо.
Нету крыши надежнее.

*Мы — мужчины, Ташкент.
Нам привычны ушибы.
Станешь ты белоснежной легенд.
Помогавшим — спасибо.
Помогают Ташкенту
от Тайшета и до Сестрорецка*

(Москва построит 230 000 кв. м., Беларусь — 25 тыс., Грузия —
22 тыс. Тысячи детей приняли другие республики...)

*лесом, силой, цементом,
ну а главное — сердцем!
И латышская мама
над ташкентским склоняется шкетом.
Манит Нида каймами...*

*И как буквы Анкеты
в нашу ночь зажжены
абазуры ташкентских палаток...
Будет полный порядок.
Спи, Ташкент.
Ты любимый ребенок страны.*

(Ну, а вы вне Беды?
Погодите

закусывать кетой.

Будьте так же чисты.
Помогите Ташкенту.

Ах, Клубок Литтарантулов,
не устали делить монументы?

Напишите талантливо.
Помогите Ташкенту.)

...Кукла под сапогами.
Помогите Ташкенту,
как он вам помогает
стать собой.

Он — Анкета.

Ташкент. Май 1966

Зов озера



*Памяти
жертв фашизма*

Певзнер 1903, Сергеев 1934, Лебедев 1916, Бирман 1938,
Бирман 1941, Дробот 1907...

Наши кеды как приморозило.
Тишина.
Гетто в озере. Гетто в озере.
Три гектара живого дна.

Гражданин в пиджачке гороховом
заывает на славный клев,
только кровь
на крючке его крохотном,
кровь!

«Не могу,— говорит Володька,—
а по рылу — могу,
это вроде как
не укладывается в мозгу!

Я живою водой умоюсь,
может, чью-то жизнь расплещу.
Может, Машеньку или Мойшу
я размазываю по лицу.

Ты не трожь воды плоскодонкой,
уважаемый инвалид,
ты пощупай ее ладонью —
болит!

Может, так же не чьи-то давние,
а ладони моей жены,
плечи, волосы, ожидание
будут кем-то растворены?

А базарами колоссальными
барабанит жабрами в жесть
то, что было теплом, глазами,
на колени любило сесть...»

«Не могу, — говорит Володька, —
лишь зажмурюсь —
в чугунных ночах,
точно рыбы на сковородках,
пляшут женщины и кричат!»

Третью ночь как Костров пьет.
И ночами зовет с обрыва.
И к нему
Является
Рыба
Чудо-юдо озерных вод!

*«Рыба,
летучая рыба,
с гневным лицом мадонны,
с плавниками, белыми
как свистят паровозы,
рыба,*

*Рива тебя звали,
 золотая Рива,
 Ривка, либо как-нибудь еще,
с обрывком
 колючки проволоки или рыболовным крючком
 в верхней губе, рыба,
рыба боли и печали,
 прости меня, прокляни, но что-нибудь ответь...»*

Ничего не отвечает рыба.

Тихо.
Озеро приграничное.
Три сосны.

Изумленнейшее хранилище
жизни, облака, вышины.

Лебедев 1916, Бирман 1941, Румер 1902, Бойко оба 1933.

1965

Замерли



Заведи мне ладони за плечи,
обойми,
только губы дыхнут об мои,
только море за спинами плещет.

Наши спины — как лунные раковины,
что замкнулись за нами сейчас.
Мы заслушаемся, прислонясь.
Мы — как формула жизни двоякая.

На ветру мировых клоунад
заслоняем своими плечами
возникающее меж нами —
как ладонями пламя хранят.

Если правда, душа в каждой клеточке,
свои форточки отвори.
В моих порах
стрижами заплещутся
души пойманные твои!

Все становится тайное явным.
Неужели под свистопад,
разомкнемся немим изваяньем —
как раковины не гудят?

А пока нажимай, заваруха,
на скорлупы упругие спин!
Это нас прижимает друг к другу.

Спим.

1965

на меня, точно фара из гаража,
мчатся
яблоневые глаза!

Их 19.

*Они по три в ряд на стволе,
как ленточные окна.*

Они раздвигают кожу, как дупла.

Другие восемь узко растут из листьев.

*В них ненависть, боль, недоумение —
что?*

что?

*что свершается под корой?
кожу жжет тебе известь?*

кружит тебя кровь?

*Дегтем, дегтем тебя мазать бы, а не известью,
дурочка древесная. Сунулась. Стояла бы себе как
соседки в белых передниках. Ишь...*

Так сидит старшеклассница меж подружек, бледна,
чем полна большеглазо —

не расскажет она.

Похудевшая тайна. Что же произошло?

Пахнут ночи миндально.

Невозможно светло.

Или тигр-людоед так тоскует, багров.

Нас зовет к невозможнейшему любовью!

А бывает, проснешься — в тебе звездопад,
тополиные мысли, и листья шумят.

По генетике

у меня четверка была.

Люди — это память наследственности.

*В нас, как муравьи в банке,
напиханно шевелятся тысячелетия.
У меня в пятке щекочет Людовик XIV.
Но это?..
Чтобы память нервов мешалась с хлорофиллами?
Или это биочудо?
Где живут дево-деревья?*

Как женщины пахнут яблоком!..

*...А 30-го стало ей невмоготу.
Ночью сбросила кожу, открыв наготу,
врыта в почву по пояс,
и зовет смертельно орет
удаляющийся самолет.*

1965

Из закарпатского дневника



*Я служил в листке дивизиона.
Польза от меня дискуссионна.
Я вел письма, правил опечатки.
Кто только в газету не писал
(графоманы, воины, девчата,
отставной начпрод Правоуча-
тов) —
я всему признательно внимал.
Мне писалось: Начались
ученья.*

*Мчались дни.
Получились строчки о
Шевченко.
Опубликовали. Вот они:*

Сквозь строй

И снится страшный сон Тарасу.
Кусищем воющего мяса
сквозь толпы, улицы,
гримасы,
сквозь жизнь, под барабанный вой,
сквозь строй ведут его, сквозь строй!
Ведут под коллективный вой:
«Кто плохо бьет — самих сквозь строй».

Спиной он чувствует удары:
Правофланговый бьет удало.
Друзей усердных слышит глас:
«Прости, старик, не мы — так нас».

За что ты бьешь, дурак господен?
За то, что век твой безысходен!
Жена родила дурачка.
Кругом долги. И жизнь тяжка.

А ты за что, царек отечный?
За веру, что ли, за отечество?
За то, что перепил, видать?
И со страной не совладать?

А вы, эстет, в салонах куксясь?
(Шницрутен в правой, в левой — кукиш.)
За что вы столковались с ними?
Что смел я то, что вам не снилось?

«Я понимаю ваши боли,—
сквозь сон он думал,— мелкота,
мне не простите никогда,
что вы бездарны и убоги,
вопит на снеговых заносах
как сердце раненой страны
мое в ударах и занозах
мясное
месиво
спины!

Все ваши боли вымещая,
эпохой сплющенных калек,
люблю вас, люди, и прощаю.
Тебя я не прощаю, век.
Я верю — в будущем, потом...»

· · · · ·
Удар. В лицо сапог. Подъем.

**Песенка травести
из спектакля „ Антимирь“**



Стоял Январь, не то Февраль,
какой-то чертовый Зимарь.

Я помню только голосок
над красным ротиком — парок

и песенку:

«Летят вдали
красивые осенебри,

но если наземь упадут,
их человолки загрызут...»

1963

Эскиз поэмы

22-го бросилась женщина из застрявшего лифта,
где не существенно —

важно в Москве —

тронулся лифт

гильотинною бритвой

по голове!

Я поднимаюсь.

Лестница в пятнах.

Или я спятил?

И так до дверей.

Я наступаю рифлеными пятками

по крови твоей,

по крови твоей,

по крови твоей...

«Милая, только выживи, вызволись из озноба,
если возможно — выживи, ежели невозможно —
выживи,

тут бы чудо! — лишь неотложку вызвали...
выживи!..

как я хамил тебе, милая, не покупал миндалю,
милая, если только —

шагу не отступлю...

Если только...»



«Милый, прости меня, так послучалось.
Просто сегодня
все безысходное — безысходней,
наипечальнейшее — печальней.

Я поняла — неминуема крышка
в этом колодце,
где любят — не слишком,
крикнешь — не слышно,
ни одна сволочь не отзовется!

Все окружается сеткой железной.
Милый, ты рядом. Нет, не пускает.
Сердце обрежешь, но не пролезешь.
Сетка узка мне.

Ты невиновен, любимый, пожалуй.
Невиноватые — виноватей.
Бьемся об сетки немилых кроватей.
Ну, хоть пожара бы!

Я понимаю, это не метод.
Непоправимое непоправимо.
Но неужели, чтобы заметили,—
надо, чтоб голову раскроило?!

Меня не ищи. Ты узнаешь от матери,
что я уехала в Алма-Ату.
Со следующей женщиной будь повнимательней.
Не проморгай ее, женщину ту...»

и чьи-то уши
текут как хобот.

А дальше — хуже!

А дальше...

Все течет. Все изменяется.

Одно переходит в другое.

Квадраты расплзаются в эллипсы.

Никелированные спинки кроватей

текут, как разварившиеся макароны.

Решетки тюрем свисают,

как кренделя или аксельбанты.

Генри Мур,

краснощекий английский ваятель,
носился по биллиардному сукну
своих подстриженных газонов.

Как шары блистали скульптуры,

но они то расплывались как флюс, то принимали
изящные очертания тазобедренных суставов.

«Остановитесь! — вопил Мур.— Вы прекрасны!..» —

Не останавливались.

По улицам проплыла стайка улыбок.

На мировой арене, обнявшись, пыхтели два борца.

Черный и оранжевый.

Их груди слиплись. Они стояли, походя сбоку

на плоскогубцы, поставленные на попа.

Но-о ужас!

На оранжевой спине угрожающе проступили
черные пятна.

Просачивание началось.

Изловчившись, оранжевый крутил ухо
соперника

и сам выл от боли —

это было его собственное ухо.

Оно перетекло к противнику.

Мцхетский замок

сползал

по морщинистой коже плоскогорья,

как мутная слеза

обиды за человечество.

Букашкина выпустили.

Он вернулся было в бухгалтерию,

но не смог ее обнаружить,

она, реорганизуясь, принимала новые формы.

Дома он не нашел спичек.

Спустился ниже этажом.

Одолжить.

В чужой постели колыхалась мадам Букашкина.

«Ты как здесь?»

«Сама не знаю — наверно, протекла через потолок».

Вероятно, это было правдой.

Потому что на ее разомлевшей коже,

как на разогревшемся асфальте,

отпечаталась чья-то пятерня с перстнем.

И почему-то ступня.

Радуга,

зацепившись за два каких-то гвоздя в небе,

лучезарно провисала,

как ванты Крымского моста.

Вождь племени Игого-жо искал новые формы перехода
от феодализма к капитализму.
Все текло вниз, к одному уровню,
уровню моря.

Обезумевший скульптор носился,
лепил,
придавая предметам одному ему понятные
идеальные очертания,
но едва вещи освобождались от его
пальцев,
как они возвращались к прежним формам,
подобно тому, как расправляются грелки или
резиновые шарики клизмы.

Лифт стоял вертикально над половодьем, как ферма
по колено в воде.

«Вверх — вниз!»
Он вздымался, как помпа насоса,
«Вверх — вниз».
Он перекачивал кровь планеты.

«Прячьте спички в местах, недоступных детям».
Но места переместились и стали доступными.
«Вверх — вниз».

Фразы бессильны. Слова слиплись в одну фразу.
Согласные растворились.
Остались одни гласные.
«Оаыу аоии оааоиаые!..»

Это уже кричу я.
Меня будят. Суют под мышку ледяной градусник.
Я с ужасом гляжу на потолок.
Он квадратный.

P. S.

Мне снится сон. Я погружен
на дно огромной шахты лифта.
Дамоклово,

неумолимо

мне на затылок
мчится
он!

Вокруг кабины бьется свет,
как из квадратного затмения,
чужие смех и оживленье...
нет,
я узнаю ваш гул участливый,
герои моего пера,
Букашкин, банщица с ушатом,
пенсионер Правоучатов,
ах, милые, etc,

я создал вас, я вас тиранил,
к дурацким вынуждал тирадам,
благодарящая родня
несется лифтом
на меня,

я в клетке бьюсь, мой голос пуст,
проносится в мозгу истошном,
что я, и правда, бед источник,
пусть!..

Но в миг, когда меня сомнет,
мне хорошо непостижимо,
что ты сегодня не со мной.
И тем оставлена для жизни.

1965

**Записка Е. Яницкой,
бывшей
машинистке Маяковского**



Вам Маяковский что-то должен.
Я отдаю.

Вы извините — он не дожил.

Определяет жизнь мою
платить за Лермонтова, Лорку
по нескончаемому долгу.

Наш долг страшен и протяжен
кроваво-красным платежом.

Благодарю, отцы и прадеды.
Крутись, эпохи колесо...

Но кто же за меня заплатит,
за все расплатится, за все?

1963

Большая баллада



В море морозном, в море зеленом
Можно застынуть в пустынных салонах.
Что опечалилась, милый товарищ?
Заболеваешь, заболеваешь?

Мы запропали с тобой в теплоход
в самый канун годовщины печальной.
Что, укачало? Но это пройдет.
Все образуется, полегчает.

Ты в эти ночи родила меня,
женски, как донор, наполнив собою.
Что с тобой, младшая мама моя?
Больно?

Милая, плохо? Планета пуста.
Официанты бренчат мелочишкой.
Выйдешь на палубу — пар изо рта,
не докричишься, не докричишься.

К нам, точно кошка, в каюту войдет
затосковавшая проводница.
Спросит уютно: чайку, молодежь,
или чего-нибудь подкрепиться?

Я, проводница, не так чтобы пьющ,
но в годовщину подобных кочевий
выпьемте, что ли, за дьявольский плюс
быть на качелях,

«Любят — не любят», за качку в мороз,
что мы сошлись в этом мире кержацком,
в наикачаемом из миров
важно прижаться.

Пьем за сварливую нашу родню,
воют, хвативши чекушку с прицепом.
Милые родичи, благодарю.
Но как тошнит с ваших точных рецептов.

Ах, как тошнит от тебя, тишина.
Благожелатели виснут на шею.
Ворот теснит, и удача тошна,
только тошнее

знать, что уже не болеть ничему,
ни раздражения, ни обиды.
Плакать начать бы, да нет, не начну.
Видно, душа, как печенка, отбита...

Ну а пока что — да здравствует бой,
Вам еще взвыть от последней обоймы.
Боль продолжается. Празднуйте боль!

Больно!

1964

О з а

**Тетрадь, найденная в тумбочке
дубненской гостиницы**

П о э м а





*Аве, Оза. Ночь или жилье,
псы ли воют, слизывая слезы,
слушаю дыхание Твое.
Аве, Оза...*

*Оробело, как вступают в озеро,
разве знал я, циник и паяц,
что любовь — великая боязнь?
Аве, Оза...*

*Страшно — как сейчас тебе одной?
Но страшнее — если кто-то возле.
Черт тебя сподобил красотой!
Аве, Оза!*

*Вы, микробы, люди, паровозы,
умоляю — бережнее с нею.
Дай тебе не ведать потрясений.
Аве, Оза...*

*Противоположности светло.
Дай возьму всю боль твою и горечь.
У магнита я — печальный полюс,
ты же — светлый. Пусть тебе светло.*

*Дай тебе не введать, как грущу.
Я тебя не огорчу собою.
Даже смертью не беспокою.
Даже жизнью не отягощу.*

*Аве, Оза. Пребывай светла.
Мимолетное непрерывимо.
Не укоряю, что прошла.
Благодарю, что приходила.*

Аве, Оза...

I

Женщина стоит у циклотрона —
стройно,

слушает замагниченно,
свет сквозь нее струится,
красный, как земляничинка,
в кончике у мизинца,

не отстегнув браслетки,
вся изменяясь смутно,
с нами она — и нет ее,
прислушивается к чему-то,

тает, ну как дыхание,
так за нее мне боязно!
Поздно ведь будет, поздно!
Рядышком с кадыками

атомного циклотрона 3-10-40.

Я знаю, что люди состоят из атомов,
частиц, как радуги из светящихся пылинок
или фразы из букв.

Стоит изменить порядок, и наш
смысл меняется.

Говорили ей,— не ходи в зону!
а она

вздрагивает ноздрями,
празднично хорошея.
Жертво-ли-приношение?
Или она нас дразнит?

Не отстегнув браслетки,
вся изменяясь смутно,
с нами она — и нет ее,
прислушивается к чему-то...

«Зоя,— кричу я,— Зоя!..»
Но она не слышит. Она ничего не
понимает.

Может, ее называют Оза?

II



Не узнаю окружающего.

Вещи остались теми же, но частицы их, мигая, изменяли очертания, как лампочки иллюминации на Центральном телеграфе.

Связи остались, но направление их изменилось.

Мужчина стоял на весах. Его вес оставался тем же. И нос был на месте, только вставлен внутрь, точно полный чехол кинжала. Неумещающийся кончик торчал из затылка.

Деревья лежали навзничь, как ветвистые озера, зато тени их стояли вертикально, будто их вырезали ножницами. Они чуть погромыхивали от ветра, вроде серебра от шоколада.

Глубина колодца росла вверх, как черный снопрожектора. В ней лежало утонувшее ведро и плавали кусочки тины.

Из трех облачков шел дождь. Они были похожи на пластмассовые гребенки с зубьями дождя. (У двух зубья торчали вниз, у третьего — вверх.)

Ну и рокировка! На месте ладьи генуэзской башни встала колокольня Ивана Великого.

На ней, не успев растаять, позвякивали сосульки.

Страницы истории были перетасованы, как карты в колоде. За индустриальной революцией следовало нашествие Батыя.

У циклотрона толпилась очередь. Проходили профилактику. Их разбирали и собирали. Выходили обновленными.

У одного уха было привинчено ко лбу с дырочкой посредине вроде зеркала отоларинголога.

«Счастливец, — утешали его. — Удобно для замочной скважины! И видно и слышно одновременно».

А эта требовала жалобную книгу. «Сердце забыли положить, сердце!» Двумя пальцами он выдвинул ей грудь, как правый ящик письменного стола, вложил что-то и захлопнул обратно. Экспериментщик Ъ пел, пританцовывая.

«Е9-Д4, — бормотал экспериментщик. — О, таинство творчества! От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Важно сохранить систему. К чему поэзия? Будут роботы. Психика — это комбинация аминокислот...

Есть идея! Если разрезать земной шар по экватору и вложить одно полушарие в другое, как половинки яичной скорлупы...

Конечно, придется спилить Эйфелеву башню, чтобы она не проткнула поверхность в районе Австралийской низменности.

Правда, половина человечества погибнет, но зато вторая вкусит радость эксперимента!..»

И только на сцене Президиум секции квазиискусства сохранял порядок. Его члены сияли, как яйца в аппарате для просвечивания яиц. Они были круглы и поэтому одинаковы со всех сторон. И лишь у одного над столом вместо туловища торчали ноги подобно трубам перископа.

Но этого никто не замечал.

Докладчик выпятил грудь. Но голова его, как у целлулоидного пупса, была повернута вперед затылком. «Вперед, к новому искусству!» — призывал докладчик. Все соглашались.

Но где перед?

Горизонтальная стрелка указателя (не то «туалет», не то «к новому искусству!») торчала вверх на манер десяти минут третьего. Люди продолжали идти целеустремленной цепочкой по ее направлению, как по ступеням невидимой лестницы.

Никто ничего не замечал.

НИКТО

Над всем этим, как апокалипсический знак, горел плакат: «Опасайтесь случайных связей!» Но кнопки были воткнуты острием вверх.

НИЧЕГО

Иссиня-черные брови были нарисованы не над а под глазами, как тени от карниза.

НЕ ЗАМЕЧАЛ.

Может, ее называют Оза?

Ш



Ты мне спишься под утро,
как ты, милая, спишься!..

Почему-то под дулами,
наведенными снизу,

ты летишь Подмосковьем,
хороша до озноба,
вся твоя маскировка —
30 метров озона!

Твои миги сосчитаны
наведенным патроном,
30 метров озона —
вся броня и защита!

В том рассвете болотном,
где полет безутешен,
но пахнуло полетом,
и — уже не удержишь.

Дай мне, господи, крыльев
не для славы красивой —
чтобы только прикрыть ее
от прицела трясины.

Пусть еще погуляется
этой дуре рискованной,
хоть секунду — раскованно.
Только пусть не оглянется.

Пусть хоть ей будет счастье
в доме с умным сынишкой.
Наяву ли сейчас ты?
И когда же ты снишься?

От утра ли до вечера,
в шумном счастье заверчена,
до утра? поутру ли? —
за секунду от пули.

IV



А может, милый друг, мы впрямь
сентиментальны?
И душу удалят, как вредные миндалины?

Ужели и хорей, серебряный флейтист,
погибнет, как форель погибла у плотин?

Ужели и любовь не модна, как камин?
Аминь?

Но почему ж тогда, заполнив Лужники,
мы тянемся к стихам, как к травам от цинги?
И радостно и робко в нас души расцветают...
Роботы,
роботы,
роботы
речь мою прерывают.

Толпами автоматы
топают к автоматам,
сунут жетон оплаты,
вытянут сок томатный,

некогда думать, некогда,
в оффисы — как вагонетки,
есть только брутто, нетто —
быть человеком некогда!

Вот мой приятель-лирик:
к нему забежала горничная...
Утром вздохнула горестно,—
мол, так и не поговорили!

Ангел, об чем претензии?
Провинциалочка некая!
Сказки хотелось, песни?
Некогда, некогда, некогда!

Что там в груди колотится
пойманной партизанкою?
Сердце, нам безработица.
В мире — роботизация.

Ужас! Мама,
роdi меня обратно!..

Обратно — к истокам неслись реки.
Обратно — от ффиниша к старту задним
ходом неслись мотоциклисты.
Баобабы на глазах, худея, превращались в прутки
саженцев — обратно!
Пуля, вылетев из сердца Маяковского, пролетев
прожженную дырочку на рубашке, юркнула
в ствол маузера 4-03986, а тот, свернувшись
улиткой, нырнул в ящик стола...

...Твой отец историк. Он говорит, что человечество имеет обратный возраст. Оно идет от старости к молодости.

Хотя бы средневековье. Старость. Морщинистые стены инквизиции.

Потом Ренессанс — бабье лето человечества. Это как женщина, красивая, все познавшая, пирует среди зрелых плодов и тел.

Не будем перечислять надежд, измен, приключений XVIII века, задумчивой беременности XIX...

А начало XX века — бешеный ритм революции!.. Восемнадцатилетие командармов. «Мы — первая любовь земли...»

«Я думаю о будущем, — продолжает историк, — когда все мечты осуществляются. Техника в добрых руках добра. Бояться техники? Что же, назад в пещеру?..»

Он седой и румяный. Ему улыбаются дети и собаки.

V



А не махнуть ли на море?

VI

●

В час отлива возле чайной
я лежал в ночи печальной,
говорил друзьям об Озе и величье бытия,
но внезапно черный ворон
примешался к разговорам,
вспыхнув синими очами,
он сказал:

«А на фи́га?!»

Я вскричал: «Мне жаль вас, птица,
человеком вам родиться б,
счастье высшее трудиться,
полпланеты раскря...»

Он сказал: «А на фи́га?!»

«Будешь ты,— великий ментор,
бог машин, экспериментов,
будешь бронзой монументов
знаменит во все края...»

Он сказал: «А на фи́га?!»

«Уничтожив олигархов,
ты настроишь агрегатов,
демократией заменишь
короля и холуя...»

Он сказал: «А на фи́га?!»

Я сказал: «А хочешь — будешь
спать в заброшенной избушке,
утром пальчики девичьи
будут класть на губы вишни,
глушь такая, что не слышна
ни хвала и ни хула...»

Он ответил: «Все — мура,
раб стандарта, царь природы,
ты свободен без свободы,
ты летишь в автомашине,
но машина — без руля...»

Оза, Роза ли, стервоза —
как скучны метаморфозы,
в ящик рано или поздно...

Жизнь была — а на фига?!»

Как сказать ему, подонку,
что живем не чтоб подохнуть, —
чтоб губами тронуть чудо
поцелуя и ручья!

Чудо жить — необъяснимо.
Кто не жил — что спорить с ними?!

Можно бы — да на фига?

VII



А тебе семнадцать. Ты запыхалась после гимнастики. И неважно, как тебя зовут. Ты и не слышала о циклотроне.

Кто-то сдуру воткнул на приморской набережной два ртутных фонаря. Мы идем навстречу. Ты от одного, я от другого. Два света бьют нам в спину.

И прежде, чем встречаются наши руки, сливаются наши тени — живые, теплые, окруженные мертвой белизной.

Мне кажется, что ты все время идешь навстречу!

Затылок людей всегда смотрит в прошлое. За нами, как очередь на троллейбус, стоит время. У меня за плечами прошлое, как рюкзак, за тобой — будущее. Оно за тобой шумит, как парашют.

Когда мы вместе — я чувствую, как из тебя в меня переходит будущее, а в тебя — прошлое, будто мы песочные часы.

Как ты страдаешь от пережитков будущего! Ты резка, искренна. Ты поразительно невежественна.

Прошлое для тебя еще может измениться и наступать. «Наполеон, — говорю я, — был вы-

дающийся государственный деятель». Ты отвечаешь: «Посмотрим!»

Зато будущее для тебя достоверно и безусловно.

«Завтра мы пошли в лес», — говоришь ты. У, какой лес зашумел назавтра! До сих пор у тебя из левой туфельки не вытряхнулась сухая хвойная иголка.

Твои туфли остроносые — такие уже не носят. «Еще не носят», — смеешься ты.

Я пытаюсь заслонить собой прошлое, чтобы ты никогда не разглядела майданеков и инквизиции.

Твои зубы розовы от помады.

Иногда ты пытаешься подладиться ко мне. Я замечаю, что-то мучит тебя. Ты что-то ерзаешь. «Ну, что ты?»

Освобождаясь, ты, довольная, выпаливаешь, как на иностранном языке: «Я получила большое эстетическое удовольствие!»

А раньше я тебя боялась... А о чем ты думаешь?..»

Может, ее называют Оза?

VIII



Выйду ли к парку, в море ль плыву —
туфелька пара стоит на полу.

Левая к правой набок припала,
их не поправят — времени мало.

В мире не топлено, в мире ни зги,
вы еще теплые, только с ноги,

в вас от ступни потемнела изнанка,
вытерлось золото фирменных знаков...

Красные голуби просо клюют.
Кровь кружит голову — спать не дают!

Выйду ли к пляжу — туфелька пара,
будто купальщица в море пропала.

Где ты, купальщица? Вымыты пляжи.
Как тебе плавается? С кем тебе пляшется?..

*где каждый хлюст, возив клешни, толкая,
касается тебя — какая боль!*

*Ты-то простишь мне боль твою и стон.
Ну, а в душе кровавые мозоли?
Где всякий сплетник, жизнь твою мусоля,
жуёт бифштекс над этим вот листом!*

*Простимся, Оза, сквозь решетку строк...
Но кровь к вискам бросается, задохшись,
когда живой, как бабочка в ладошке,
из телефона бьется голосок...*

**От автора
и кое-что другое**



*Люблю я Дубну. Там мои друзья.
Березы там растут сквозь тротуары.
И так же независимы и талы
чудесных обитателей глаза.*

*Цвет нации божественно оброс.
И, может, потому не дам я дуба —
мою судьбу оберегает Дубна,
как берегу я свет ее берез.*

*Я чем-то существую ради них.
Там я нашел в гостинице дневник.*

*Не к первому попала мне тетрадь:
ее командировщики листали,
острили на полях ее устало
и засыпали, слясь разобрать.*

*Вот чей-то почерк: «Автор-абстрактивист»!
А снизу красным: «Сам туда катись!»*

*«Может, автор сам из тех, кто
тешит публику подтекстом?»
«Брось искать подтекст, задрыга!
Ты смотришь в книгу —
видишь фигу»*

*Оставим эти мудрости, дневник.
Хватает комментариев без них.*



*...А дальше запись лекций начиналась,
мир цифр и чей-то профиль машинальный.
Здесь реализмом трудно потрястись —
не Репин был наш бедный портретист.*

*А после были вырваны листы.
Наверно, мой упившийся предшественник,
где про любовь рванул, что посущественней...
А следующей фразой было:*

ТЫ.

Х



Ты сегодня, 16-го, справляешь день рождения в ресторане «Берлин». Зеркало там на потолке.

Из зеркала вниз головой, как сосульки, свисали гости. В центре потолка нежный, как вымя, висел розовый торт с воткнутыми свечами.

Вокруг него, как лампочки, ввернутые в элегантные черные розетки костюмов, сияли лысины и прически. Лиц не было видно. У одного лысина была маленькая, как дырка на пятке носка. Ее можно было закрасить чернилами.

У другого она была прозрачна, как спелое яблоко, и сквозь нее, как зернышки, просвечивали три мысли (две черные и одна светлая — незрелая).

Проборы щеголей горели, как щели в копилках.

Затылок брюнетки с прикнопленным прозрачным нейлоновым бантом полз, словно муха по потолку.

Лиц не было видно. Зато перед каждым, как таблички перед экспонатами, лежали бумажки, где кто сидит.

И только одна тарелка была белая, как пустая розетка.

«Скажите, а почему слева от хозяйки пустое место?»

«Генерала, может, ждут?», «А может, помер кто?»

Никто не знал, что там сижу я. Я невидим. Изящные денди, подходящие тебя поздравить, спотыкаются об меня, царапают вилами.

Ты сидишь рядом, но ты восторженно чужая, как подарок в целлофане.

Модного поэта просят: «Ах, рваните чего-то этакого! Поближе к жизни, не от мира сего... чтобы модерново...»

Поэт подымается (вернее, опускается, как спускают трап с вертолета). Голос его странен, как бы антимирен ему.

М о л и т в а

*Матерь Владимирская, единственная,
первой молитвой — молитвой последнею —
я умоляю —*

*стань нашей посредницей.
Неумолимы зрачки Ее льдистые.*

*Я не кощунствую — просто нет силы,
Жизнь заberi и успехи минутные,
наихрустальнейший голос в России —
мне ни к чему это!*

*Видишь — лежу — почернел как кикимора.
Все безысходно...*

*Осталось одно лишь —
грохнись ей в ноги,*

*Матерь Владимирская,
может, умолишь, может, умолишь...*

Читая, он запрокидывает лицо. И на его белом лице, как на тарелке, горел нос, точно болгарский перец.

Все кричат: «Браво! Этот лучше всех. Ну и тостик!» Слово берет следующий поэт. Он пьян вдребезину. Он свисает с потолка вниз головой и просыхает, как полотенце. Только несколько слов можно разобрать из его бормотанья:

— Заонежье. Тает теплоход.

Дай мне погрузиться в твоё озеро.

До сих пор вся жизнь моя —

Преозье.

Не дай бог — в Заозье занесет...

Все замолкают.

Слово берет тамада Ъ.

Он раскачивается вниз головой, как длинный маятник. «Тост за новорожденную». Голос его, как из репродуктора, разносится с потолка ресторана. «За её новое рождение, и я, как крестный... Да, а как зовут новорожденную?» (Никто не знает.)

Как это все напоминает что-то! И под этим подвешенным миром внизу расположился второй, наоборотный, со своим поэтом, со своим тамадой Ъ. Они едва не касаются затылками друг друга, симметричные, как

песочные часы. Но что это? Где я? В каком идиотском измерении? Что это за потолочно-зеркальная реальность?! Что за наобортная страна?!

Ты-то как попала сюда?

Еще мгновение, и все сорвется вниз, вдребезги, как капли с карниза!

Надо что-то делать, разморозить тебя, разбить это зеркало, вернуть тебя в твой мир, твою страну, страну естественности, чувства — где ольха, теплоходы, где доброе зеркало Онежского озера... Помнишь?

Задумавшись, я машинально глотаю бутерброд с кетовой икрой.

Но почему висящий напротив, как окорок, периферийный классик с ужасом смотрит на мой желудок? Боже, ведь я-то невидим, а бутерброд реален! Он передвигается по мне, как красный джемпер в лифте.

Классик что-то шепчет соседу.

Слух моментально пронизывает головы, как бу-сы на нитке.

Красные змеи языков ввинчиваются в уши соседей. Все глядят на бутерброд.

«А нас килькой кормят!» — вопит классик.

Надо спрятаться! Ведь если они обнаружат меня, кто же выручит тебя, кто же разобьет зеркало?!

Я выпрыгиваю из-за стола и ложусь на красную дорожку пола. Рядом со мной, за стулом, стоит пара туфелек. Они, видимо, жмут кому-то. Левая припала к правой. (Как все напоминает что-то!) Тебя просят спеть...

Начинаются танцы. Первая пара с хрустом проносится по мне. Подошвы! Подошвы! Почему все ботинки с подковами? Рядом кто-то с хрустом давит по туфелькам. Чьи-то каблучки, подобно швейной машинке, прошивают мне кожу на лице. Только бы не в глаза!..

Я вспоминаю все. Я начинаю понимать все.
Роботы! Роботы! Роботы!

Как ты, милая, снишься!
«Так как же зовут новорожденную?» —
надрывается тамада.
«Зоя! — ору я. — Зоя!»

А может, ее называют Оза?

XI



Знаешь, Зоя, теперь — без трепа.
Разбегаются наши тропы.
Стоит им пойти стороною,
остального не остановишь.

Помнишь, Зоя, — в снега застеленную,
помнишь Дубну, и ты играешь.
Оборачиваешься от клавиш.
И лицо твое опустело.
Что-то в нем приостановилось
и с тех пор невосстановимо.

Всяко было — и дождь и радуги,
горизонт мне являл немилость.
Изменяли друзья злорадно.
Сам себе надоед, зараза.
Только ты не переменялась.

А концерт мой прощальный помнишь?
Ты сквозь рев их мне шла на помощь.
Если жив я назло всем слухам,
в том вина твоя иль заслуга.

Когда беды меня окуривали,
я, как в воду, нырял под Ригу,
сквозь соломинку белокурую
ты дыхание мне дарила.

Километры не разделяют,
а сближают, как провода,
непростительнее, когда
миллиметры нас раздирают!

Если боли людей сближают,
то на черта мне жизнь без боли?
Или, может, беда блуждает
не за мной, а вдруг за тобою?

Нас спасающие — неспасаемы.
Что б ни выпало претерпеть,
для меня важнейшее самое —
как тебя уберечь теперь!

Ты ль меняешься? Я ль меняюсь?
И из лет
очертанья, что были нами,
опечаленно машут вслед.

Горько это, но тем не менее
нам пора... Вернемся к поэме.

XII

●

*Экспериментщик, чертова перечница,
изобрел агрегат ядерный.
Не выдерживаю соперничества.
Будьте прокляты, циклотроны!*

*Будь же проклята ты, громада
программированного зверья.
Будь я проклят за то, что я
слыл поэтом твоих распадов!*

*Мир — не хлам для аукциона.
Я — Андрей, а не имя рек.
Все прогрессы —
реакционны,
если рушится человек.*

*Не купить нас холодной игрушкой,
механическим соловейчиком!
В жизни главное человечность —
хорошо ль вам? красиво ль? грустно?*

*Край мой, родина красоты,
край Рублева, Блока, Ленина,
где снега до ошеломления
завораживающе чисты...*

*Выше нет предопределения —
мир
к спасению
привести!*

.....

*„Извиняюсь, вы — певец паровозов?“
„Фи, это так архаично...*

*Я — трубадур турбогенераторов!“
Что за бред!*

*Проклинаю псевдопрогресс.
Горло саднит от техсловес.
Я им голос придал и душу,
будь я проклят за то, что в грядущем,*

*порубав таблеток с эссенцией,
спросит женщина тех времен:
„В третьем томике Вознесенского
что за зверь такой Циклотрон?“*

*Отвечая: „Их кости ржавы,
отпугали, как тарантас.
Смертны техники и державы,
проходящие мимо нас.*

*Лишь одно на земле постоянно,
словно свет звезды, что ушла,—
продолжающееся сияние,
называли его душа.*

*Мы растаем и снова станем,
и неважно в каком бору,
важно жить, как леса хрустальные
после заморозков поутру.*

*И от ягод звенит кустарник.
В этом звоне я не умру“.*

*И подумает женщина: „Странно!
Помню Дубну, снега с кострами.
Были пальцы от лыж красны.
Были клавиши холодны.*

Что же с Зоей?“

*Та, физик давняя?
До свидания, до свидания.*

*Отчужденно, как сквозь стекло,
ты глядишь свежо и светло.
В мире солнечно и морозно...*

Прощай, Зоя.

Здравствуй, Оза!

XIII



*Прощай, дневник, двойник души чужой,
забытый кем-то в дубненской гостинице.
Но почему, виски руками стиснув,
я думаю под утро над тобой?*

*Твоя наивность странна и смешна.
Но что-то ты в душе моей смешал.*

*Прости царапы моего пера.
Чудовищна ответственность касаться
чужой судьбы, тревог, галлюцинаций!
Но будь что будет! Гранки ждут. Пора.*

*И может быть, нескладный и щемящий,
придет хозяин на твой зов щенячий.
Я ничего в тебе не изменил,
лишь только имя Зоей заменил.*

XIV



НА КРЫЛЬЦЕ,
ОЧИЩАЯ ЛЫЖИ ОТ СНЕГА,
Я ПОДНЯЛ ГОЛОВУ.
ШЕЛ САМОЛЕТ.
И ЗА НИМ
НА НЕИЗМЕННОМ РАССТОЯНИИ
ЛЕТЕЛ ОТСТАВШИЙ ЗВУК,
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, КАК ПРИЦЕП
НА БУКСИРЕ.

*Дубна — Одесса
Март 1964 г.*

Невыносимо



Осень в Сигулде



*Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,*

*прощай, мое лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забывают дощатый,
прощайте,*

*леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,
как ящик с аккордеона,
а музыку — унесли,*

*мы — люди,
мы тоже порожни,
уходил мы,*

*так уж положено,
из стен,*

матерей

и из женщин,

и этот порядок извечен,

*прощай, моя мама,
у окон*

*ты станешь прозрачно, как кокон,
наверно, умаялась за день
присядем,*

*друзья и враги, бывайте
гуд бай,
из меня сейчас
со свистом вы выбегайте,
и я уйду из вас.*

*о родина, попросаема,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попросайка.
спасибо, жизнь, что была,*

*на стрельбищах
в 10 баллов
я пробовал выбить 100,
спасибо, что ошибался,
но трижды спасибо, что*

*в прозрачные мои лопатки
входило прозренье, как
в резиновую*

*перчатку
красный мужской кулак,*

*„Андрей Вознесенский“ — будет,
побыть бы не словом, не бульдиком,
еще на щеке твоей душной —
„Андрюшкой“,*

*спасибо, что в рощах осенних
ты встретила, что-то спросила
и пса волокла за ошейник,*

*а он упирался,
спасибо,*

*я ожил, спасибо за осень,
что ты мне меня обьяснила,
хозяйка будила нас в восемь,
а в праздники сипло басила
пластинка блатного пошиба,
спасибо,*

*но вот ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь...
из пор моих полых уходишь,
мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом неугоден?*

*ты рядом и где-то далеко,
почти что у Владивостока,*

*я знаю, что мы повторимся
в друзьях и подругах, в травинках,
нас этот заменит и тот —
„природа боится пустот“,*

*спасибо за сдутые кроны.
на смену придут миллионы,
за ваши законы — спасибо,*

*но женщина мчится по склонам,
как огненный лист за вагоном...*

Спасите!

1961

Охота на зайца



Ю. Казакову

Травят зайца. Несутся суки.
Травля! Травля! Сквозь лай и гам.
И оранжевые кожихи
Апельсинами по снегам.

Травим зайца. Опохмелившись,
Я, завгар, лейтенант милиции,
Лица в валенках, в хроне лица,
Зять Букашкина с пацаном —

Газанем!

Газик, чудо индустриализации,
Наворачивает цепя.
Трали-вали! Мы травим зайца.
Только, может, травим себя?

Полыхают снега нарядные,
Сапоги на мне и тужурка,
Что же пляшет прицел мой, Юрка?

Юрка, в этом что-то неладное,
Если в ужасе по снегам
Скачет крови
живой стакан!

Той природе, молчально-чудной,
Роща, озеро ли, бревно —
Им позволено слушать, чувствовать,
Только голоса не дано.

Так кричат в последний и в первый.
Это жизнь, удаляясь, пела,
Вылетая, как из силка,
В небосклоны и облака.

Это длилось мгновение,
Мы окаменели,
как в остановившемся кинокадре.
Сапог бегущего завгара так и не коснулся земли.
Четыре черные дробинки, не долетев, вснзились
в воздух.
Он взглянул на нас. И — или это нам показало-
лось — над горизонтальными мышцами бегуна, над
запекшимися шерстинками шеи блеснуло лицо.
Глаза были раскосы и широко расставлены, как на
фресках Дионисия.
Он взглянул изумленно и разгневанно.
Он парил.

Как бы слился с криком.

Он повис...
С искаженным и светлым ликом,
Как у ангелов и певиц.

Длинноногий лесной архангел...
Плыл туман золотой к лесам.
«Охмуряет», — стрелявший схаркнул.
И беззвучно плакал пацан.

Возвращались в ночную пору.
Ветер рожу драл, как наждак.
Как багровые светофоры,
Наши лица неслись во мрак.

1963

Латышский эскиз



Уходят парни от невест.

Невесть зачем из отчих мест
Три дурака бегут на Запад.
Их кто-то выдает. Их цапают.
41-й год. Привет!
«Суд идет!» Десять лет.

«Возлюбленный, когда ж вернешься?!
четыре тыщи дней, как ноша,
четыре тысячи ночей
не побывала я ничьей,
соседским детям десять лет,
прошла война, тебя все нет,
четыре тыщи солнц скатилось,
как ты там мучаешься, милый,
живой ли ты и невредимый?
Предела нету для любимой —

ополоумевши любя,
я, Рута, выдала тебя —
из тюрем приходят иногда,
из заграницы — никогда...»

...Он бьет ее, с утра напившись.
Свистит его костыль над пирсом.

О, вопли женщины седой:
«Любимый мой! Любимый мой!»

1963

Тишины!



Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины...

чтобы тень от сосны,
щекоча нас, перемещалась,
холодящая словно шалость,
вдоль спины, до мизинца ступни,

тишины...

звуки будто отключены.
Чем назвать твои брови с отливом?
Понимание —
молчаливо.

Тишины.

Звук запаздывает за светом.
Слишком часто мы рты разеваем.
Настоящее — неназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.

Кожа тоже ведь человек,
с впечатленьями, голосами.

Для нее музыкально касанье,
как для слуха — поет соловей.

Как живется вам там, болтуны,
чай, опять кулуарный авралец?
горлопаны не наорались?

Тишины...

Мы в другое погружены.
В ход природ неисповедимый.
И по едкому запаху дыма
мы пойдем, что идут чабаны.

Значит, вечер. Вскипает приварок.
Они курят, как тени тихи.

И из псов, как из зажигалок,
Светят тихие языки.

1964

Лобная баллада



Их величеством поразвлекься
Прет народ от Коломн и Клязьм.
«Их любовница —
контрразведчица,
англо-шведско-немецко-греческая...»
Казнь!

Царь страшон: точно кляча, тощий,
Почерневший, как антрацит.
По лицу проносятся очи,
Как буксующий мотоцикл.

И когда голова с топорика
Подкатилась к носкам ботфорт,
Он берет ее
над толпою,
Точно репу с красной ботвой!

Пальцы в щеки впились, как клещи,
Переносицею хрустя,
Кровь из горла на брюки хлещет.
Он целует ее в уста.

Только Красная площадь ахнет,
тихим стоном оглушена:

«А-а-анхен!..»

Отвечает ему она:

«Мальчик мой государь великий
не судить мне твоей вины
но зачем твои руки липкие
солонь?»

баба я
вот и вся провинность
государства мои в устах
я дрожу брусничной кровиночкой
на державных твоих усах

в дни строительства и пожара
до малюсенькой ли любви?

ты целуешь меня Держава
твои губы в моей крови

перегаром борщом горохом
пахнет щедрый твой поцелуй

как ты любишь меня Эпоха
обожаю тебя
царуй!..»

Царь застыл — смурной, малахольный,
Царь взглянул с такой меланхолией,
Что присел заграничный гость,
Будто вбитый по шляпку гвоздь.



«Умирайте вовремя.
Помните регламент...»
Вороны,
 вороны
Надо мной горланят.

Ходит как посмешище
Трезвый несказанно
Есенин неповесившийся
С белыми глазами...

Обещаю вовремя
 выполнить завет —
Через тыщу
 лет!

1964

ночами перед зеркалом сидишь,
как кошка,
выжидающая мышь.

Гулянками сбиваешь красоту,
как с самолета пламя на лету,
Горячим полотенцем трешь со зла,
но маска, как проклятье, приросла.

Кто знал, чем это кончится? Прости.
А вдруг бы удалось тебя спасти!
Не тот мужчина сны твои стерел.
Он красоты твоей не уберег.

Не те постели застилали нам.
Мы передоверялись двойникам,
Наинепоправимо непросты...
Люблю тебя. За это и прости.

Прости за черноту вокруг зрачков,
как будто ямы выдранных садов, —
прости! —
когда безумная почти
ты бросилась из жизни болевой
на камни
ненавистной
головой!..

Прости меня. А впрочем, не жалей.
Вот я живу. И это тяжелей.

.

Больничные палаты из дюрала.
Ты выздоравливаешь.
А где-то баба
 за морем орет.
Ей жгут лицо глаза твои и рот.

1964

Стансы



Закарпатский лейтенант,
на плечах твоих погоны,
точно срезы
 по наклону
свежеспиленно слепят.

Не приносят новостей
твои новые хирурги,
век
 отпиливает
 руки,
если кверху их воздеть!

Если вскинуть к небесам
восхищенные ладони —
«Он сдается!» — задолдонят,
Они правы? — знаешь сам.

Оттого-то лейтенант
точно трещина на сердце —
что соседи милосердно
принимают за талант.



А ведь были два крыла,
да недавно отпилили —
ослепительные крылья
изумленного пера!

И в ночах твоих зажглась
над гуцульскими возами
кошка с разными глазами —
глаз зеленый — рыжий глаз.

Так же разнo зажжены
пара крыл по вертикали
и от них проистекают
темы две — как две жены.

Я люблю твой лет угарный,
адскую непоправень,
и когда изнемогаешь
синей радугой бровей!

Мое раненое левое,
сколько ты перенесло...
Унесло меня за лето
белокурое крыло.

Как от крыл плеча болят.
Как без них затосковали.
Как к двум танкам привязали!
Разрывайся пополам.

В магазине



Д. Н. Журавлеву

Немых обсчитали.
Немые вопили.
Медяшек медали
Влипали в опилки.

И гневным протестом,
Что все это сказки,
Кассирша, как тесто,
Вздымалась из кассы.

И сразу по залам,
Сырмам, патиссонам,
Пахнуло слезами,
Как будто озоном.

О, слез этих запах
В мычащей ораве.
Два были без шапок.
Их руки орали.

А третий с беконом
Подобием мата
Ревел, как Бетховен,
Земно и лохмато!

В стекло барабаня,
Ладони ломая,
Орала судьба моя
Глухонемая!

Кассирша, осклабясь,
Косилась на солнце
И ленинский абрис
Искала

в полсотне.

Но не было Ленина.
Она была
 фальшью...
Была бакалея.
В ней люди и фарши.

1959

Монолог битника



Лежу бухой и эпохальный.
Постигаю Мичиган.
Как в губке время набухает
в моих веснушчатых щеках.

В лице, лохматом как берлога,
лежат озябшие зрачки.
Перебираю как брелоки
Прохожих, огоньки.

Ракетодромами гремя,
дождями атомными рея,
плевало время на меня,
плюю на время!

Политика? К чему валандаться!
Цивилизация душна.
Вхожу, как в воду с аквалангом,
в тебя, зеленая душа.

Мы — битники. Среди хулы
мы — как звереныши, волчата.
Скандалы точно кандалы
за нами с лязгом волочатся.

Когда магнитофоны ржут,
вы думали — я шут? с опухшим носом скомороха,

Я — суд!
Я — Страшный суд. Молись, эпоха!

Мой демонизм — как динамит,
созрев, тебя испепелит.

1961

Монолог Мерлин Монро



Я Мерлин, Мерлин.
Я героиня
самоубийства и героя.
Кому горят мои георгины?
С кем телефоны заговорили?
Кто в костюмерной скрипит лосиной?
Невыносимо,

невыносимо, что не влюбиться,
невыносимо без рощ осиновых,
невыносимо самоубийство,
но жить гораздо
невыносимей!

Продажи. Рожи. Шеф ржет, как мерин
(Я помню Мерлин.
Ее глядели автомобили.
На стометровом киноэкрапе
в библейском небе,
меж звезд обильных,
над степью с крохотными рекламами
дышала Мерлин,
ее любили...

Изнемогают, хотят машины.
Невыносимо),

невыносимо

лицом в сиденьях, пропахших псиной!

Невыносимо,

когда насильно,

а добровольно — невыносимей!

Невыносимо прожить, не думая,
невыносимее — углубиться.

Где наши планы? Нас будто сдунули,
существованье — самоубийство,

самоубийство — бороться с дрянью,

самоубийство — мириться с ними,

невыносимо, когда бездарен,

когда талантлив — невыносимей,

мы убиваем себя карьерой,

деньгами, девками загорелыми,

ведь нам, актерам,

жить не с потомками,

а режиссеры — одни подонки,

мы наших милых в объятьях душим,

но отпечатываются подушки

на юных лицах, как след от шины,

невыносимо,

ах, мамы, мамы, зачем рожают?

Ведь знала мама — меня раздавят,

о кинозвездное оледененье,

нам невозможно уединенье,

в метро,
в троллейбусе,
в магазине
«Приветик, вот вы!» — глядят разини,

невыносимо, когда раздеты
во всех афишах, во всех газетах,
забыв,

что сердце есть посередке,
в тебя завертывают селедки,

глаза измяты,

лицо разорвано
(как страшно вспомнить во «Франс-Обзёрвере»
свой снимок с мордой

самоуверенной
на обороте у мертвой Мерлин!).

Орет продюсер, пирог уписывая:
«Вы просто дуся,

ваш лоб — как бисерный!»

А вам известно, чем пахнет бисер?!
Самоубийством!

Самоубийцы — мотоциклисты,
самоубийцы спешат упиться,
от вспышек блицев бледны министры —
самоубийцы,

самоубийцы,
идет всемирная Хиросима,
невыносимо,

невыносимо все ждать,

чтоб грянуло,

а главное —

Ночь



Сколько звезд!
Как микробов
в воздухе...

1963

Бьют женщину



Бьют женщину. Блестит белок.
В машине темень и жара.
И бьются ноги в потолок,
как белые прожектора!

Бьют женщину. Так бьют рабынь.
Она в заплаканной красе
срывает ручку как рубильник,
выбрасываясь
на шоссе!

И взвизгивали тормоза.
К ней подбегали тормоша.
И волочили и лупили
лицом по снегу и крапиве...

Подонок, как он бил подробно,
стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг!
Вонзался в дышащие ребра
ботинок узкий, как утюг.

О, упоенье оккупанта,
изыски деревенщины...
Сминая лунную купаву,
бьют женщину.

Бьют женщину. Веками бьют,
бьют юность, бьет торжественно
набата свадебного гуд,
бьют женщину.

А от жаровен на щеках
горящие затрешины?
Мещанство, быт — да еще как! —
бьют женщину.

Но чист ее высокий свет,
отважный и божественный.
Религий — нет,
знамений — нет.

Есть
Женщина!..

...Она как озеро лежала
стояли очи как вода
и не ему принадлежала
как просека или звезда

и звезды по небу стучали
как дождь о черное стекло
и скатываясь
остужали
ее горячее чело.

1960

Лонжюмо

Поэма



Авнавступление



Посвящается слушателям
школы Ленина
в Лонжюмо

Вступаю в поэму, как в новую пору вступаю.
Работают поршни,
соседи в ремнях засыпают.
Ночной папироской
летят телецентры
за Муром.
Есть много вопросов.
Давай с тобой, Время,
покурим.

Прикинем итоги.
Светло и прощально
горящие годы, как крылья, летят за плечами.

И мы понимаем, что канули наши кануны,
что мы, да и спутницы наши,—
не юны,
что нас провожают
и машут лукаво
кто маминым шарфом, а кто —
кулаками...

Земля,
ты нас взглядом апрельским проводишь,
лежишь на спине, по-ночному безмолвная.

*По гаснувшим рельсам
бежит
паровозик,
как будто
сдвигают
застежку
на „молнии“.*

*Россия, любимая,
с этим не шутят.
Все боли твои — меня болью пронзили.
Россия,
я — твой капиллярный
сосудик,
мне больно когда —
тебе больно, Россия.*

*Как мелки отсюда успехи мои,
неуспехи,
друзей и врагов кулуарных ватаги.
Прости меня,
Время,
что много сказать
не успею.
Ты, Время, не деньги,
но тоже тебя не хватает.*

*Но люди уходят, вреза я в ночные
отроги
дорог своих
огненные автографы!
Векам остаются — кому как удастся —
штаны — от одних,
от других — государства.*

Его различаю.

*Пытаюсь постигнуть,
Чем был этот голос с картавой пластинки.
Дай, Время, схватить этот профиль,
паривший
в записках о школе его под Парижем.*

*Прости мне, Париж, невоспетых
красавиц.*

Россия,

прости незамятые тропки.

Простите за дерзость,

*что я этой темы
касалось,*

простите за трусость,

*что я ее раньше
не трогал.*

*Вступаю в поэму. А если сплошало,
прости меня, Время, как я тебя часто
прощаю.*

*Струится блокнот под карманным
фонариком.*

Звенит самолет не крупнее комарика.

А рядом лежит

в облаках алебастровых

планета —

как Ленин,

мудра и лобаста.



В Лонжюмо сейчас лесспильня.
В школе Ленина? В Лонжюмо?
Нас распилами ослепили
бревна, бурые, как эскимо.

Пилы кружатся. Пышут пильщики.
Под береткой, как вспышки,— пыжики.
Через джемперы, как смола,
чуть просвечивают тела.

Здравствуй, утро в морозных дозах!
Словно соты, прозрачны доски.
Может, солнце и сосны — тезки?!
Пахнет музыкой. Пахнет тесом.

А еще почему-то — верфью,
а еще почему-то — ветром,
а еще — почему не знаю —
диалектикою познания!

Обнаруживайте древесину
под покровом багровой мглы.
Как лучи из-под тучи синей,
бьют

опилки

из-под пилы!

Добирайтесь в вещах до сути.
Пусть ворочается сосна,
словно глиняные сосуды,
солнцем полные до полна.

Пусть корою сосна дремуча,
сердцевина ее светла —
вы терзайте ее и мучайте,
чтобы музыкаю была!

Чтобы стала поющей силищей
корабельщиков, скрипачей...

Ленин был
из породы
распиливающих,
обнажающих суть
вещей.

II



Врут, что Ленин был в эмиграции.
(Кто *вне* родины — эмигрант.)
Всю Россию,
 речную, горячую,
он носил в себе, как талант!

Настоящие эмигранты
пили в Питере под охраной,
воровали казну галантно,
 жрали устрицы и гранаты —
 эмигранты!

Эмигрировали в клозеты
с инкрустированными розетками,
отгораживались газетами
от осенней страны раздетой,
 в куртизанок с цветными гривами —
эмигрировали!

В драндулете, как чертик в колбе,
изолированный, недобрый,
среди великодержавных харь,
среди ряс и охотнорядцев,
 под разученные овации
 проезжал глава эмиграции —

Ц а р ь!

Эмигранты селились в Зимнем.
А России
 сердце само —
билося в городе с дальним именем
Лонжюмо.

III



Этот — в гольф. Тот повержен бриджем.
Царь просаживал в «дурачки»...
...Под распарившимся Парижем
Ленин
 режется
 в городки!

Раз! — распахнута рубашка,
 раз! — прищуривался глаз,
 раз! — и чурки вверх тормашками
 (жалко, что не видит Саша!) —
Раз!

Рас-печатывались «письма»,
 раз-летясь до облаков,—
только вздрагивали бисмарки
от подобных городков!

Раз! — по тюрьмам, по двуглавым —
ого-го! —
Революция играла
 озорно и широко!

Раз! — врезалась бита белая,
как авроровский фугас —
так что вдребезги империи,
церкви, будущие берии —
Раз!

Ну играл! Таких оттягивал
«паровозов»! Так играл,
что шарахались рейхстаги
в 45-м наповал!

Раз!..

...а где-то в начале века
человек, сощуривши веки,
«Не играл давно» — говорит.
И лицо у него горит.

IV



В этой кухоньке скромны тумбочки,
и, как крылышки у стрекоз,
брежит воздух над узкой улочкой
Мари-Роз,

было утро, теперь смеркается,
и совсем из других миров
слышен колокол доминиканский,
Мари-Роз,

прислоняюсь к прохладной раме,
будто голову мне нажгло,
жизнь вечернюю озираю
через ленинское стекло,

и мне мнится — он где-то спереди,
меж торговок, машин, корзин,
на прозрачном велосипеде
проскользил,

или в том кабачке хохочет,
аплодируя шансонье?
или вспомнил в метро грохочущем
ослепительный свист саней?

или, может, жару и жаворонка?
или в лифте сквозном парит,
и под башней ажурно-ржавой
запрокидывается Париж —

крыши сизые галькой брезжат,
точно в воду погружены,
как у крабов на побережье,
у соборов горят клешни,

над серебряной панорамою
он склонялся, как часовщик,
над закатами, над рекламами,
он читал превращенья их,

он любил вас, фасады стылые,
точно ракушки в грустном стиле,
а еще он любил Бастилию —
за то, что ее срыли!

И сквозь биржи пожар валютный,
баррикадами взвив кольцо,
проступало ему Революции
окровавленное
лицо,

и глаза почему-то режа,
сквозь сиреневую майолику
проступало Замоскворечье,
все в скворечниках и маевках,

а за ними — фронты, юденичи,
Русь ревет со звездой на лбу,
и чиркнет фуражкой студенческой
мой отец на кронштадтском льду,

вот зачем, мой Париж прощальный,
не пожар твоих маляров —
славлю стартовую площадку
узкой улочки Мари-Роз!

Он отсюда

мыслил

ракетно.

Мысль его, описав дугу,
разворачивала

парашеты

возле Зимнего на снегу!

(Но об этом шла речь в строках
главки 3-й, о городках.)

V



В доме позднего рококо
спит, уткнувшись щекой в конспекты,
спит, живой еще, невоспетый
Серго,

спи, Серго, еще раным-рано,
зайчик солнечный через раму
шевелится в усах легко,
спи, Серго,

спи, Серго в васильковой рубашечке,
ты чему во сне улыбаешься?
Где-то Куйбышев и Менжинский
так же детски глаза смежили.

Что вам снится? Плотины Чирчика?
Первый трактор и кран с серьгой?
Почему вы во сне кричите,
Серго?!

Жизнь хитра. Не учесть всего.
Спит Серго, коммунист кремневый.
Под широкой стеной кремлевской
спит Серго.



Его скульптор лепил.
Вернее,
умолял попозировать он,
перед этим, сваяв Верлена,
их похожестью потрясен,

бормотал он оцепенело;
«Символическая черта!
У поэтов и революционеров
одинаковые черепа!»

Поэтично кроить вселенную!
И за то, что он был поэт,
как когда-то в Пушкина -
в Ленина
бил отравленный пистолет!

Года световые



Флорентийские факелы



З. Богуславской

*Ко мне является Флоренция,
фосфоресцируя домами,
и отмыкает, как дворецкий,
свои палацио и туманы.*

*Я знаю их. Я их калькировал
для бань, для стадиона в Кировске,
спит Баптистерий, как развитие
моих проектов вытрезвителя.*

*Дитя соцреализма грешное,
вбегало в факельные площади,
ты — калька с юности, Флоренция!
брожу по прошлому!*

*Через фасады, амбразуры,
как сквозь восковку,
восходят судьбы и фигуры
моих товарищей московских.*

*Они взирают в интерьерах,
меж вьющихся интервьюеров,
как ангелы или лакеи,
стоят за креслами, глазами.*

*А факелы над черным Арно
необъяснимы —
как будто в огненных подфарниках
несутся в прошлое машины!*

*Ау! — зовут мои обеты,
Ау! — забытые мольберты,
и сигареты,
и спички сквозь ночные пальцы.
Ау! — сбегаются палаццо,—
авансы юности опасны! —
попался?!*

*И между ними мальчик странный,
еще не тронутый эстрадой,
с лицом, как белый лист тетрадный,
в разинутых подошвах с драгмой —
здравствуй!*

*Он говорит: „Вас не поймаешь!
Преуспевающий пай-мальчик,
Вас заграницы издают.
Вас продащицы узнают.*

Но почему вы чуть не плакали?

*И по кому прощально факелы
над флорентийскими хоромами
летят свежо и похоронно?..“*

*Я занят. Я его прерву.
Осточертели интервью.*

*Сажусь в машину. Дверцы мокры.
Флоренция летит назад.
И как червонные семерки
палаццо в факелах горят.*

1962

Пожар в Архитектурном институте



Пожар в Архитектурном!
По залам, чертежам,
Амнистией по тюрьмам —
Пожар! Пожар!

По сонному фасаду
Бесстыже, озорно,
Гориллой
 краснозодою
Взвывается окно!

А мы уже дипломники,
Нам защищать пора.
Трещат в шкафу под пломбами
Мои выговора!

Ватман — как подраненный
Красный листопад.
Горят мои подрамники,
Города горят.

Бутылью керосиновой
Взвилось пять лет и зим..
Кариночка Красильникова,
Ой! горим!

Прощай, архитектура!
Пылайте широко,
Коровники в амурах,
Райклубы в рококо!

О юность, феникс, дурочка,
Весь в пламени диплом!
Ты машешь красной юбочкой
И дразнишь язычком.

Прощай, пора окраин!
Жизнь — смена пепелищ.
Мы все перегораем.
Живешь — горишь.

А завтра, в палец чиркнувши,
Вонзится злей пчелы
Иголочка от циркуля
Из горсточки золы...

...Все выгорело начисто.
Вздыхающих полно.
Все — кончено!

Все — начато!

Айда в кино!

1958

Осенний воскресник



Кружатся опилки,
груши и лимоны.
Прямо
на затылки
падают балконы!

Мимо этой сутолоки,
ветра, листопада
мчатся на полуторке
ведра и лопаты.

Над головоломной
ка-
та-
строфой
мы летим в Коломну
убирать картофель.

Замотаем платица,
брючины засучим.
Всадим заступ
в задницы
пахотам и кручам!

1954

Торгуют арбузами



Москва завалена арбузами.
Пахнуло волей без границ.
И веет силой необузданной
От возбужденных продавщиц.

Палатки. Гвалт. Платки девчат.
Хохочут. Сдачею стучат.
Ножи и вырезок тузы.
«Держи, хозяин, не тужи!»

Кому кавун? Сейчас расколется!
И так же сочны и вкусны
Милиционерские околыши
И мотороллер у стены.

И так же весело и свойски,
как те арбузы у ворот —
земля

мотается

в авоське
меридианов и широт!

1956

Мастерские на Трубной



Дом над Трубной.
В нем дипломники басят.
Окна бубной
жгут заснеженный фасад.
Дому трудно.

Раньше он соцреализма не видал
в безыдейном заведении у мадам.

В нем мы чертим клубы, домны,
но бывало
стены фрескою огромной
сотрясало,
шла империя вприпляс
под венгерку,
«Фей» реяли меж нас
Фейерверком!
Мы небриты как шинель.
Мы шалели,
отбиваясь от мамзель,
от шанели,
но упорны и умны,
сжавши зубы,
проектировали мы
домны, клубы...

Ах, куда вспорхнем с твоих
авиаматок,
Дом на Трубной, наш Парнас,
альма матер?

Я взираю, онемев,
на лекало —
мне районный монумент
кажет
ноженьку
лукаво!

1959

Туманная улица



Туманный пригород как турман.
Как поплавки, милиционеры.

Туман.
Который век? Которой эры?

Все — по частям, подобно бреду.
Людей как будто развинтили...

Бреду.
Верней — барахтаюсь в ватине.

Носы. Подфарники. Околыши.
Они, как в фодисе, двоятся.

Калоши?
Как бы башкой не обменяться!

Так женщина — от губ едва,
двоясь и что-то воскрешая,
уж не любимая — вдова,
еще — твоя, уже — чужая...

О тумбы, о прохожих трусь я...
Венера? Продавец мороженого!..

Друзья?
Ох, эти яго доморощенные!

Сибирские бани



Бани! Бани! Двери — хлоп!
Бабы прыгают в сугроб.

Прямо с пылу, прямо с жару —
Ну и ну!
Слабовато Ренуару
До таких сибирских «ню»!

Что мадонны! Эти плечи,
Эти спины наповал,
Будто доменной печью
Запрокинутый металл.

Задыхаясь от разбега,
Здесь на ты, на ты, на ты
Чистота огня и снега
С чистотою наготы.

День морозный, чистый, парный.
Мы стоим, четыре парня, —
В полушубках, кровь с огнем,
Как их шуткой
шуганем!

Ой, испугу!
Ой, в избушку,
Как из пушки, во весь дух:
— Ух!..

А одна в дверях задержится,
За приступочку подержится
И в соседа со смешком
Кинет
 кругленьким снежком!

1959

На плотях



Нас несет Енисей.

Как плоты над огромной
и черной водой,

Я — ничей!

Я — не твой, я — не твой, я — не твой!

Ненавижу провал

твоих губ, твои волосы,
платье, жилье.

Я плевал

на святое и лживое имя твое!

Ненавижу за ложь

телеграмм и открыток твоих,

Ненавижу, как нож

по ночам ненавидит живых,

Ненавижу твой шелк,

проливные нейлоны гардин,

Мне нужнее мешок, чем холстина картин!

Атаманша-тихоня,

телефон-автоматной Москвы,

Я страшон, как икона,

почернел и опух от мошки.

Блещет, точно сазан,
голубая щека рыбака,
«Нет» — слезам.
«Да» — мужским, продубленным рукам.

«Да» — девчатам разбойным,
купающим МАЗ, как коня,
«Да» — брандспойтам,
Сбивающим горе с меня.

1959

Тайгой



Твои зубы смелы
в них усмешка ножа

и гудят как пмели
золотые глаза!

мы бредем от избушки
нам трава до ушей
ты пророчишь мне взбучку
от родных и друзей

ты отнюдь не монахиня
хоть в округе — скиты
бродят пчелы мохнатые
нагибая цветы

я не знаю — тайги
я не знаю — семьи
знаю только зрочки
знаю — зубы твои

на ромашках роса
как в буддийских пиалах
как она хороша
в длинных мочках фиалок!

в каждой капельке-мочке
отражаясь мигая
ты дрожишь как Дюймовочка
только кверху ногами

ты — живая вода
на губах на листке
ты себя раздала
всю до капли — тайге.

1960

Сентябрь



Загрибок сохатый как карагач —
невесткин хахаль,
снохач, снохач!..

Он шубу справил ей в ту весну.
Он сына сплавил на Колыму.
Он ночью стучит черпаком по бадье.
И лампами

капли
висят в бороде!

(Огромная осень, стара и юна,
в неистово-синем сиянье окна.)

А утром он в чайной подсядет ко мне,
дыша перегаром,

как листья в окне,
и скажет мне:

«Что ж я? Художник, утешь.
Мне страшно, художник!.. Я сыну — отец...»

И слезы стоят, как стакан первача,
В неистово синих глазах снохача.

1960

Вечер на стройке



Меня пугают фформализмом.

Как вы от жизни далеки,
Пропахнувшие формалином
И ффимиамом знатоки!
В вас, может, есть и целина,
Но нет жемчужного зерна.

Искусство мертвенно без искры,
Не столько божьей, как людской, —
Чтоб слушали бульдозеристы
Непроходимую тайгой.
Им приходилось зло и солоно,
Но чтоб стояли, как сейчас,
Они — небритые, как солнце,
И точно сосны — шелушась.
И чтобы девочка-чувашка,
Смахнувши синюю слезу,
Смахнувши — чисто и чумазо,
Смахнувши — точно стрекозу,
В ладоши хлопала раскатисто...

Мне ради этого легки
Любых ругателей рогатины
И яростные ярлыки.

1960

Баллада 41-го года



Партизанам Керченской каменоломни

Рояль вползал в каменоломню.
Его тащили на дрова
К замерзшим чанам и половням.
Он ждал удара топора!

Он был без ножек, черный ящик,
Лежал на брюхе и гудел.
Он тяжело дышал, как ящер,
В пещерном логове людей.

А пальцы вспухшие алели.
На левой — два, на правой — пять...
Он

опускался

на колени,

Чтобы до клавишей достать.

Семь пальцев бывшего завклуба!
И, обмороженно-суха,
С них, как с разваренного клубня,
Дымясь, сползала шелуха.

Металась пламенем сполошным
Их красота, их божество...

И было величайшей ложью
Все, что игралось до него!

Все отраженья люстр, колонны...
Во мне ревет рояля сталь.
И я лежу в каменоломне.
И я огромен, как рояль.

Я отражаю штолен сажу.
Фигуры. Голод. Блеск костра.
И как коронного пассажи,
Я жду удара топора!

Мое призвание — не тайна.
Я верен участи своей.
Я высшей музыкою стану —
Теплом и хлебом для людей.

1960

Рублевское шоссе



Мимо санатория
Реют мотороллеры.

За рулем влюбленные —
Как ангелы рублевские.

Фреской Благовещенья,
Резкой белизной
За ними блещут женщины,
Как крылья за спиной!

Их одежда плещет,
Рвется от руля,
Вонзайтесь в мои плечи,
Белые крыла.

Улечу ли?
Кану ль?
Соколом ли?
Камнем?

Осень. Небеса.
Красные леса.

1962

В гудящие уголья
К березам и дубам.

Побеги их — победы.
Уход их — как восход
К полянам и планетам
От ложных позолот.

Леса роняют кроны.
Но мощно под землей
Ворочаются корни
Корявой пятерней.

1960

Поют пегры



Мы —
тамтамы гомеричные с глазами горемычными,
клубимся, как дымы, —
мы...

Вы —
белы, как холодильники,
как марля карантинная,
безжизненно мертвы —
вы...

О чем мы поем вам, уважаемые джентльмены?

О
руках ваших из воска,
как белая известка,
о, как они впечатались
между плечей печальных,
о, наших жен печальных, как их позорно жгло
— о-о!

«Н-но!» —
нас лупят, точно клячу, мы чаевые клянчим,
на рингах и на рынках у нас в глазах темно,
но,
когда ночами спим мы, мерцают наши спины,
как звездное окно.

В нас,
боксерах, гладиаторах, как в черных радиаторах
или в пруду карась,
 созвездья отражаются
 торжественно и жалостно —
 Медведица и Марс —
 в нас...

Мы — негры, мы, поэты,
 в нас плещутся планеты.
Так и лежим, как мешки, полные звездами и легендами...

Когда нас бьют ногами —
пинают небосвод.
У вас под сапогами
Вселенная орет!

1961

Баллада работы



Е. Евтушенко

Петр
Первый —
Пот
первый...

Не царский (от шубы,
от баньки с музыкой),
а радостный
грубый,
мужицкий!

От плотской забавы
гудела спина,
от плотницкой бабы,
пилы, колуна.

Аж в дуги сгибались
дубы топорниц!
Аж щепки вонзались
в Стамбул и Париж!

А он только крякал,
упруг и упрямя,
расставивши краги,
как башенный кран.

Бьет пот
 (чтобы стать жемчугами Вирсавии).
Бьет пот
 (чтоб сверкать сквозь фонтаны Версаля).
Бьет пот,
 превращающий на века
художника — в бога, царя — в мужика!

Вас эта высокая влага кропила,
чело целовала и жгла, как крапива.
Вы были как боги — рабы ремесла!..

В прилипшей ковбойке
стою у стола.

1959

Секвойя Ленина



В автомобильной Калифорнии,
Где солнце пахнет канифолью,
Есть парк секвой.

Из них одна
Ульянову посвящена.

«Секвойя Ленина?!

Ату!»

Столпотворенье, как в аду.

«Секвойя Ленина»?!

Как взрыв!

Шериф, ширинку не прикрыв,
Как пудель с красным языком,
Ввалился к мэру на прием.

«Мой мэр, крамола наяву.

Корнями тянется в Москву...

У!..»

Мэр съел сигару. Караул!

В Миссисипи

сиганул!

По всей Америке сирены.

В подвалах воеет население.

Несутся танки черепахами.

среди оваций карнавальных
когда невыносимо мне
я опускаюсь как в бассейн
в твою серебряную сень
твоих бесед — не перевесть...

Секвойи — нет?
Секвойя — есть!

1962



Вас за плечи держали
ручищи эполетов.
Вы рвались и дерзали,
гусары и поэты!

И уносились ментики
меж склонов-черепах,
и полковые медики
копались в черепах.

Но снова мертвой петлею
несутся до рассвета
такие же отпетые
шоферы и поэты!

Их фары по спирали
уходят в небосвод.
Вы совесть потеряли.
Куда нас занесет?

1960

Лейтенант Загорин

●

Я во Львове. Служу на сборах,
в красных кронах, лепных соборах.
Там столкнулся с судьбой моей
лейтенант Загорин. Андрей.

(Странно... Даже Андрей Андреевич. 1933. 174.
Сапог 42. Он дал мне свою гимнастерку. Она сомкнулась на моей груди тугая, как кожа тополя.
И внезапно над моей головой зашумела чужая
жизнь, судьба, как шумят кроны...
«Странно», — подумал я...)

Ночь.

Мешая Маркса с Авиценной,
спирт с вином, с луной Целиноград,
о России

рубят офицеры.

А Загорин мой — зеленоглаз!

И как фьры огненные манят —
из его цыганского лица
вылетал сжигающий румянец
декабриста или чернеца.

Так же, может, Лермонтов и Пестель,
как и вы, сидели, лейтенант.

Смысл России

исключает бездарь.

Тухачевский ставил на талант.

Если чей-то череп застил свет,
вы на вылет прошибали череп
и в свободу

глядели

через —

как глядят в смотровую щель!

Но и вас сносило наземь косо,
сжав коня кусачками рейтуз.

«Ах, поручик, биты ваши козыри».

«Крюю сердцем — это пятый туз!»

Огненное офицерство!

Сердце — ваш беспроегрышный бой.

Амбразуры закрывает сердце.

Гибнет от булавки

болевой.

На балкон мы вышли.

Внизу шумел Львов.

Он рассказал мне свою историю. У каждого
офицера есть своя история. В этой была
женщина и лифт.

«Странно», — подумал я...

Первый лед



Мерзнет девочка в автомате,
Прячет в зябкое пальтецо
Все в слезах и губной помаде
Перемазанное лицо.

Дышит в худенькие ладошки.
Пальцы — льдышки. В ушах — сережки.

Ей обратно одной, одной
Вдоль по улочке ледяной.

Первый лед. Это в первый раз.
Первый лед телефонных фраз.

Мерзлый след на щеках блестит —
Первый лед от людских обид.

Поскользнешься. Ведь в первый раз.
Бьет по радио поздний час.

Эх, раз,
Еще раз,
Еще много, много раз.

1959

Последняя электричка



Мальчики с финками, девочки с фиксами,
Две проводницы дремотными сфинксами...

Я еду в этом тамбуре,
Спасаясь от жары,
Кругом гудят как в таборе
Гитары и воры.

И как-то получилось,
Что я читал стихи
Между теней плечистых,
Окурков, шелухи.

У них свои ремесла.
А я читаю им,
Как девочка примерзла
К окошкам ледяным.

На черта им девчонка
И рифм ассортимент?
Таким, как эта — с челкой
И пудрой в сантиметр?!

Стоишь — черты спитые,
На блузке видит взгляд
Всю дактилоскопию
Малаховских ребят...

Чего ж ты плачешь бурно,
И, вся от слез светла,
Мне шепчешь нецензурно
Чистейшие слова?

И вдруг из электрички,
Ошеломив вагон,
Ты чище Беатриче
Сбегаешь на перрон!

1959

Сирень „Москва — Варшава“

❶

Р. Гамзатову

11.III.61

Сирень прощается, сирень — как лыжница,
сирень, как пудель, мне в щеки
лижется!

Сирень заревана,
сирень — царевна,
сирень пылает ацетиленом!
Расул Гамзатов хмур как бизон.
Расул Гамзатов сказал: «Свезем».

12.III.61

Расул упарился. Расул не спит.
В купе купальщицей сирень дрожит.
О, как ей боязно!

Под низом
колеса поезда — не чернозем.
Наверно, в мае цвеств «красивей»...
Двойник мой, магия, сирень, сирень,
сирень как гений!

Из всех одна
на третьей скорости цветет она!

Есть сто косулей —
одна газель.
Есть сто свистулек — одна свирель.

Несовременно цвести в саду.
Есть сто сиреней.

Люблю одну.
Ночные грозди гудят махрово,
как микрофоны из мельхиора.

У, дьявол-дерево! У всех мигрень.
Как сто салютов, стоит сирень.

13.III.61

Таможник вздрогнул: «Живьем? В кустах?!»
Таможник, ахнув, забыл устав.
Ах, чувство чуда — седьмое чувство...

Вокруг планеты зеленой люстрой,
промеж созвездий и деревень
свистит

трассирующая

сирень!

Смешны ей — почва, трава, права...

P. S.

Читаю почту: «Сирень мертва».

P. P. S.

Черта с два!

Футбольное



Левый крайний!

Самый тощий в душевой,
Самый страшный на штрафной,
Бито стекло — боже мой!
И гераней...
Нынче пулей меж тузов,
Блещет попкой из трусов
Левый крайний.

Левый шпарит, левый лупит.
Стадион нагнулся лупой,
Прожигательным стеклом
Над дымящимся мячом.

Правый край спешит заслоном,
Он сипит, как сто сифонов,
Ста медалями увенчан,
Стольким ноги поувечил.

Левый крайний, милый мой,
Ты играешь головой!

О, атака до угара!
Одурение удара.

Только мяч,
 мяч,
 мяч,
Только — вмажь,
 вмажь,
 вмажь!
«Наши — ваши» — к богу в рай...
Ай!
Что наделал левый край!..

Мяч лежит в своих воротах.
Солнце черной сковородкой.
Ты уходишь, как горбун,
Под молчание трибун.

Левый крайний...

Не сбываются мечты,
С ног срезаются мячи.
И под краном
Ты повинный чубчик мочишь,
Ты горюешь
 и бормочешь:
«А ударчик — самый сок,
Прямо в верхний уголок!»

1961

Как волнение Вас охватывает!..
Мост парит,
ночью в поры свои асфальтовые,
как сирень,
впитавши Париж.

Гений. Мот. Футурист с морковкой.
Льнул к мостам. Был посол Земли...
Никто не пришел
на Вашу выставку,
Маяковский.

Мы бы — пришли.

Вы бы что-нибудь почитали,
как фатально Вас не хватает!

О, свинцовою пломбочкой ночью
опечатанные уста.
И не флейта Ваш позвоночник —
алюминиевый лет моста!

Маяковский, Вы схожи с мостом.
Надо временем,
как гимнаст,
башмаками касаетесь РОСТА,
а ладонями —
нас.

Ваша площадь мосту подобна,
как машины из-под моста —
Маяковскому под ноги
Маяковская Москва!
Маяковским громит подонков

Киж-озеро



Мы — Киж,и,
Я — киж, а ты — кижиха.
Ни души.
И все наши пожитки —
Ты, да я, да простенький плащико,
да два прошлых,
чтобы распроститься!

Мы чужи
наветам и наушникам,
те Киж,и
решат твое замужество,
надоело прятаться и мучиться,
лживые обрыдли стеллажи,
люди мы — не электроужи,
от шпионов, от домашней лжи
нас с тобой упрятали Киж,и.

Спят Киж,и,
как совы на нашесте,
ворожбы,
пожарища,
нашествия,
Мы свежи —

как заросли и воды,
оккупированные
свободой!

Кыш, Кижж...

...а где-нибудь на Каме
два подобья наших с рюкзаками,
он, она —

и все их багажи,
убежали и — недосыгаемы.

Через всю Россию
ночниками
их костры — как микромятежи.

Раньше в скит бежали от грехов,
Нынче удаляются в любовь.



Горожанка сходит с теплохода.
В сруб вошла. Смыкаются над ней,
Как репейник вровень небосводу,
купола мохнатые Кижжей.

Чем томит тоска ее душевная?
Вы, Кижж,
непредотвратимое крушение
отведите от ее души.

Завтра эта женщина оставит
дом, семью и стены запалит.
Вы, Кижж, кружитесь скорбной стаей.
Сердце ее тайное болит.

В зимнем доме косолапом
кто-то скажет, что озябла
без меня,
 без меня...

И летит мирами где-то
в мрак бесстрастный, как крупье,
наша белая планета,
как цыпленок в скорлупе.

Вот она скорлупку чокнет.
Кем-то станет — свистуном?
Или черной, как грачонок,
сбитый атомным огнем?

Мне бы только этим милым
не случилось непогод...
А над Римом, а над миром —
Новый год, Новый год...

...Мандарины, шуры-муры,
и сквозь юбки до утра
лампами
 сквозь абажуры
светят женские тела.

1 января 1963 г.

Баллада — диссертация



Нос растет в течение всей
жизни.

Из научных источников

Вчера мой доктор произнес:
«Талант в вас, может, и возможен,
но Ваш паяльник обморжен,
не суйтесь из дому в мороз».

О нос!..

Неотвратимы, как часы,
У нас, у вас, у капудинов
по всем
 законам
 Медицины
торжественно растут носы!

Они растут среди ночи
у всех сограждан знаменитых,
у сторожей,
 у замминистров,
сопя бессонно, как сычи,
они прохладны и косы,
их бьют боксеры,
 щемят двери,
но в скважины, подобно дрели,
соседок ввинчены носы!

Монолог биолога



Растут распады
из чувств влекущих.
Вчера мы спаривали
лягушек.

На черном пластике
изумрудно
сжимались празднично
два чутких чуда.

Ввожу пинцеты,
вонжу кусачки —
сожмется крепче
страсть лягушачья.

Как будто пытки
избытком страсти
преображаются
в источник счастья.

Но кульминанта
сломилась к спаду —
чтоб вы распались,
так мало надо.

Мои кусачки
теперь источник
их угасания
и мук истошных.

Что раньше радовало,
сближало,
теперь их ранит
и обижает.

Затосковали.
Как сфинксы — варвары,
ушли в скафандры,
вращая фарами.

Закаты мира.
Века. Народы.
Лягухи милые,
мои уроды.

1964

Противостояние очей



Третий месяц ее хохот нарочит,
третий месяц по ночам она кричит.
А над нею, как сиянье, голося,
вечерами

разражаются
Глаза!

Пол-лица ошеломленное стекло
вертикальными озерами зажгло.

...Ты худеешь. Ты не ходишь на завод,
ты их слушаешь,
как лунный садовод,
жизнь и боль твоя, как влага к облакам,
поднимается к наполненным зрочкам.

Говоришь: «Невыносима синева!
И разламывает голова!
Кто-то хищный и торжественно-чужой
свет зажег и поселился на постой...»

Ты грустишь — хохочут очи, как маньяк.
Говоришь — они к аварии манят.
Вместо слез —
иллюминированный взгляд.

«Симулирует», — соседи говорят.
Ходят люди, как глухие этажи.
Над одной горят глаза, как витражи.

Сотни женщин их носили до тебя,
сколько муки накопили для тебя!
Раз в столетие

касается

людей

это Противостояние Очей!..

...Возле моря отрешенно и отчаянно
бродит женщина, беременна очами.

Я под ними не бродил,
за них жизнью заплатил.

1962



Я в Шушенском. В лесу слоняюсь.

Такая глушь в лесах моих!

Я думаю, что гениальность
Переселяется в других.

Уходят имена и числа.

Меняет гений свой покров.

Он — дух народа.

В этом смысле

Был Лениным — Андрей Рублев.

Как по архангелам келейным,

порхал огонь неукрощен.

И может, на секунду Лениным

Был Лермонтов и Пугачев.

Но вот в стране узкоколейной,

шугнув испуганную шваль,

В Ульянова вселился Лепин,

Так что пиджак трещал по швам!

Он диктовал его декреты.

Ульянов был его техредом.

Нацелен и лобаст, как линза,

он в гневный фокус собирал,

Что думал зал. И афоризмом
Обрушивал на этот зал.

И часто от бессонных планов,
упав лицом на кулаки,

Устало говорил Ульянов:
«Мне трудно, Ленин. Помогите!»

Когда он хаживал с ружьишком,
он не был Лениным тогда,

А Ленин с профилем мужицким
Брал легендарно города!

Вносили тело в зал нетопленный,
а Он — в тулупы, лбы, глаза,

Ушел в нахмуренные толпы,
Как партизан идет в леса.

Он строил, светел и двужилен,
страну в такие холода.

Не говорите: «Если б жил он!..»
Вот если б умер — что тогда?

Какая пепельная стужа
сковала б родину мою!

Моя замученная муза,
Что пела б в лагерном краю?

Как он страдал в часы тоски,
когда по траурным
трибунам —

По сердцу Ленина! —
тяжки,
Самодержавно и чугунно,

Стуча,
взбирались
сапоги!

В них струйкой липкой и опасной
Стекали красные лампы...

И как ему сейчас торжественно
И как раскованно —
сиять,

Указывая
Щедрым
Жестом
На потрясенных марсиан!

1962

Мастера

**Поэма
из семи глав
с реквиемом
и посвящениями**



Первое посвящение



*Колокола, гудошники...
Звон. Звон...*

*Вам,
Художники
Всех времен!*

*Вам,
Микеланджело,
Барма, Дант!
Вас молниєю заживо
Испепелял талант.*

*Ваш молот не колонны
И статуи тесал —
Сбивал со лбов короны
И троны сотрясал.*

*Художник первородный —
Всегда трибун.
В нем дух переворота
И вечно — бунт.*

Второе посвящение



*Москва бурлит, как варево,
Под колокольный звон...*

*Вам,
Варвары
Всех времен!*

*Цари, тираны,
В тиарах яйцевидных,
В пожарищах-сутанях
И с жерлами цилиндров!*

*Империи и кассы
Страхуя от огня,
Вы видели в Пегасе
Троянского коня.*

*Ваш враг — резец и кельма.
И выжженные очи,
Как
Клейма,
Горели среди ночи.*

*Вас мое слово судит.
Да будет — срам,
Да
Будет
Проклятье вам!*

I



Жил-был царь.
У царя был двор.
На дворе был кол.
На колу не мочало —
Человека мотало!

Хвор царь, хром царь,
А у самых хором ходит вор и бунтарь.
Не туга мошна,
Да рука мощна!

Он деревни мутит.
Он царевне свистит.

И ударил жезлом
и велел государь,
Чтоб на площади главной
Из цветных терракот
Храм стоял семиглавый —
Семиглавый дракон.

Чтоб царя сторожил.
Чтоб народ страшил.

II



Их было смелых — семеро,
Их было сильных — семеро,
Наверно, с моря синего
Или откуда с севера,

Где Ладога, луга,
Где радуга-дуга.

Они ложили кладку
Вдоль белых берегов,
Чтоб взвились, точно радуга,
Семь разных городов.

Как флаги корабельные,
Как песни коробейные.

Один — червонный, башенный,
Разбойный, бесшабашный.
Другой — чтобы, как девица,
Был белогруд, высок.
А третий — точно деревце,
Зеленый городок!

Узорные, кирпичные,
Цветите по холмам...
Их привели опричники,
Чтобы построить храм.

III



Кудри — стружки,
Руки — на рубанки.
Яростные, русские,
Красные рубахи.

Очи — ой, отчаянны!
При подобной силе —
Как бы вы нечаянно
Царство не спалили!..

Бросьте, дети бисовы,
Кельмы и резцы.
Не мечите бисером
Изразцы.

IV



Не памяти юродивой
Вы возводили храм,
А богу плодородия,
Его земным дарам.

Здесь купола — кокосы,
И тыквы — купола.
И бирюза кокошников
Окошки оплела.

Сквозь кожуру мишурную
Глядело с завитков,
Что чудилось Мичурину
Шестнадцатых веков.

Диковины кочанные,
Их буйные листы,
Кочевников колчаны
И кочетов хвосты.

И башенки буравами
Взвивались по бокам,
И купола булавами
Грозили облакам!

И москвичи молились
Столь дерзкому труду —
Арбузу и маису
В чудовищном саду.

V



Взглянув на главы-шлемы,
Боярин рек:
— У, шельмы,
В бараний рог!
Сплошные перламутры —
Сойдешь с ума.
Уж больно баламутны
Их сурик и сурьма...

Купец галантный,
Куль голландский,
Шипел: — Ишь надругательство,
Хула и украшательство.

Нашел уж царь работничков —
Смутьянов и разбойничков!
У них не кисти,
А кистени.
Семь городов, антихристы,
Задумали они.
Им наша жизнь — кабальная,
Им Русь — не мать!

...А младший у кабатчика
Все похвалялся, тать,
Как в ночь перед заутреней,
Охальник и бахвал,
Царевне
Целомудренной
Он груди целовал...

И дьяки присные,
Как крысы по углам,
В ладони прыснули:
— Не храм, а срам!..

...А храм пылал в полнеба,
Как лозунг к мятежам,
Как пламя гнева —
Крамольный храм!

От страха дьякон пятился,
В сундук купчина прятался.
А немец, как козел,
Скакал, задрав камзол.
Уж как ты зол,
Храм антихристовый!..

А мужик стоял да подсвистывал,
Все посвистывал, да поглядывал,
Да топор
рукой все поглаживал...

VI



Холод, хохот, конский топот да собачий звонкий лай.
Мы, как дьяволы, работали, а сегодня — пей, гуляй!
Гуляй!
Девкам юбки заголяй!

Эх, на синих, на глазурных да на огненных санях..
Купола горят глазуньями на распахнутых снегах.
Ах! —
Только губы на губах!

Мимо ярмарок, где ярки яйца, кружки, караси.
По соборной, по собольей, по оборванной Руси —
Эх, еси —
Только ноги уноси!

Завтра новый день рабочий грянет в тысячу ладов.
Ой вы, плотнички, пилите тес для новых городов.
Го-ро-дов?
Может, лучше — для гробов?..

VII



Тюремные стены.
И нем рассвет.
А где поэма?
Поэмы — нет.

Была в семь глав она —
Как храм в семь глав.
А нынче безгласна —
Как лик без глаз.

Она у плахи.
Стоит в ночи.

.
И руки о рубахи
Отерли палачи.

Реквием



Вам свай не бить, не гулять по лугам.
Не быть, не быть, не быть городам!

Узорчатым башням в тумане не плыть.
Ни солнцу, ни пашням, ни соснам — не быть!

Ни белым, ни синим — не быть, не бывать.
И выйдет насильник губить-убивать.

И женщины будут в оврагах рожать,
И кони без всадников — мчаться и ржать.

Сквозь белый фундамент трава прорастет.
И мрак, словно мамонт, на землю сойдет.

Растерзанным бабам на площади выть.
Ни белым, ни синим, ни прочим — не быть!

Ни в снах, ни воочию — нигде, никогда...

Врете,
 сволочи,
Будут города!

Над ширью вселенской
В лесах золотых
Я,
Вознесенский,
Воздвигну их!

Я — парень с Калужской,
Я явно не промах.
В фуфайке колючей,
С хрустящим дипломом.
Я той же артели,
Что семь мастеров.
Бушуйте в артериях,
Двадцать веков!
Я тысячерукий —
руками вашими,
Я тысячеокий —
очами вашими.
Я осуществляю в стекле и металле,
О чем вы мечтали,
о чем — не мечтали...
Я со скамьи студенческой
мечтаю, чтобы зданья
ракетой
стоступенчатой
взвивались
в мирозданье!
И завтра ночью тряскою
в 0.45
я еду
Братскую
осуществлять!..

*...А вслед мне из ночи
Окон и бойниц
Уставились очи
Безглазых глазниц.*

1959

2=1>3 000 000 000



Ночной аэропорт в Нью-Йорке



*Автопортрет мой, реторта неона, апостол
небесных ворот —
Аэропорт!*

*Брежат дюралевые витражи,
Точно рентгеновский снимок души.*

*Как это страшно, когда в тебе небо стоит
В тлеющих трассах
Необыкновенных столиц.*

*Каждые сутки
тебя наполняют, как шлюз,
Звездные судьбы
Грузчиков, шлюх.*

*В баре, как ангелы, гаснут твои
алкоголики
Ты им глаголишь!*

*Ты их, прибитых,
возвышаешь!
Ты им „Прибытьё“
возвещаешь!*



*Ждут кавалеров, судеб, чемоданов, чудес...
Пять „Каравелл“*

ослепительно

сядут с небес!

*Пять полуночниц шасси выпускают устало.
Где же шестая?*

Видно, допрыгалась —

брянь, аистенок, звезда!..

Электроплитками

пляшут под ней города.

Где она реет,

стонет, дурит?

И сигареткой

в тумане горит?

Она прогноз не понимает.

Ее земля не принимает.



*Худы прогнозы. И ты в ожидании бури,
Как в партизаны, уходишь в свои вестибюли*

Мощное око взирает в иные мира.

Мойщики окон

слезят тебя, как мошкара,

Звездный десантник, хрустальное чудище,

Сладко, досадно быть сыном будущего,

*Где нет дураков
и вокзалов-тортов —
Одни поэты и аэропорты!*

*Стонет в аквариумном стекле
Небо,
приваренное к земле.*



*Аэропорт — озона и солнца
Аккредитованное посольство!*

*Сто поколений
не смели такого коснуться —
Преодоленья
несущих конструкций.*

*Вместо каменных истуканов
Стынет стакан синевы —
без стакана.*

Рядом с кассами-теремами

*Он, точно газ,
антиматериален!
Бруклин — дурак, твердокаменный черт.*

*Памятник эры —
Аэропорт.*

1961

Вступление к поэме „Треугольная груша“



Открывайся, Америка!
Эврика!

Короную Емельку,
открываю, сопя,
В Америке — *Америку*,
В себе —
себя.

Рву кожуру с планеты,
сметаю пыль и тлен,
Спускаюсь
в глубь
предмета,
Как в метрополитен.

Там груши — треугольные,
ищу в них души голые
Я плод трапецевидный
беру не чтоб глотать —
Чтоб стекла сердцевинки
Сияли, как алтарь!

...Знакомый лектор мне вчера
Сказал: «Антимиры? Мура!»

Я сплю, ворочаюсь спросонок.
Наверно, прав научный хмырь...

Мой кот, как радиоприемник,
Зеленым глазом ловит мир.

1961

Лирическая религия



Несутся энтузиасты
на горе мальтузианству.
Человечество
увеличивается
в прогрессии
лирической

(А Сигулда вся в сирени,
как в зеркала уроненная,
зеленая на серебряном,
серебряная на зеленом.)

В орешнях, на лодках, на склонах,
смущающаяся, грешная,
выводит свои законы
лирическая прогрессия!

Приветик, Трофим Денисычи
и мудрые Энгельгардты.
 $2 = 1 > 3\ 000\ 000\ 000!$

Рушатся Римы, Греции.
Для пигалиц обнаглевших
профессора, как лешие,
вызубривают прогрессию.

Ты спросишь: «А правы ль данные,
что сердце в момент свидания
сдвигает 4 вагона?»
Законно! Законно! Законно!

Танцуй, моя академик!
Хохочет до понедельника
на физике погоревшая
лирическая прогрессия!

(Ты младше меня? Старше!
На липы, глаза застлавшие...
Наука твоя вековая
ауканья, кукованья.)

Грозит мировым реваншем
в сиренях повызревавшая —
кого по щеке огревшая? —
лирическая агрессия!

1963



Благословенна лень, томительнейший плен,
когда проснувшись лень и сну отдаться лень,

лень к телефону встать, и ты через меня
дотянешься к нему, переутомлена,

рождающийся звук в тебе как колокольчик
и диафрагмою мое плечо щекочет.

«Билеты? — скажешь ты. — Пусть пропадают. Лень».
Томительнейший день в нас переходит в тень.

Лень — двигатель прогресса. Ключ к Диогену — лень.
Я знаю, ты — прелестна! Все остальное — тлен.

Вселенная горит? до завтраго потерпит!
Лень телеграмму взять — заткните под портьеру.

Лень ужинать идти. Лень выключить «трень-брень».
Лень.

И лень окончить мысль. Сегодня воскресень...

Прохожий на дороге
разлегся под шефе
сатиrom козлоногим,
босой и в галифе.

1964

Новогоднее письмо в Варшаву



А. Л.

Когда под утро, точно магний,
бледнеют лица в зеркалах
и туалетною бумагой
прозрачна пудра на щеках,
как эти рожи постарели!

Как хищно на салфетке в ряд,
как будто раки на тарелке,
их руки красные лежат!

Ты бродишь среди этих блюдищ.
Ты лоб свой о фужеры студишь.
Ты шаль срываешь. Ты горишь.
«В Варшаве душно»,— говоришь.

А у меня окно распахнуто
в высотный город словно в сад
и снег антоновкою пахнет,
и хлопья в воздухе висят

они не движутся не падают
ждут

не шелохнутся
легки

внимательные
 как лампы
или как летом табаки

Они немножечко качнутся,
когда их ноженькой
 коснутся,
одетой в польский сапожок...

Пахнет яблоком снежок.

1961

Стога



Менестрель атóмный,
Галстучек-шнурок...
Полечка — мадонной?
Как Нью-Йорк?

Что ж, автолюбитель,
Ты рулишь к стогам,
Точно их обидел
Или болен сам?

Как стада лосиные,
Спят

стога.

Полыхает Россия,
Голуба и строга.

И чего-то не выразив,
Ты стоишь, человек,
Посреди телевизоров,
Небосклонов, телег.

Там — аж волосы дыбом! —
Разожгли мастера
Иступленные нимбы,
Будто рефлятора.

Там виденьем над сопками
Солнцу круглому вслед
Бабка в валенках стоптанных
Крутит велосипед...

Я стою за стогами.
Белый прутик стругаю.
«Ах, оставьте,— смеюсь,—
Я без вас разберусь!»

Нас любили и крыли.
Ты ж, Россия, одна,
Как подводные крылья,
Направляешь меня.

1959

В шумящем изобилии
ромашек, мят
лежат,
о них забыли,
и спят
и спят.

1963



Э. Межелайтису

Жизнь моя кочевая
стала моей планидой...

Птицы кричат над Нидой.
Станция кольцевания.

Стонет в сетях капроновых
в облаке пуха, крика
крыльями трехметровыми
узкая журавлиха!

Вспыхивает разгневанной
пленницею, царевной,
чуткою и жемчужной,
дышащею кольчужкой.

К ней подбегут биологи:
«Цапе надеть брелоки!»
Бережно, не калеча,
цап! — и вонзят колечко.

Вот она в небе плещется,
послеоперационная,
вольная, то есть пленная,
целая, но кольцованная,

над анкарами, плевнами,
лунатиками в кальсонах —
вольная, то есть пленная,
чистая — окольцованная,

жалуется над безднами
участь ее двойная:
на небесах — земная,
а на земле — небесная,

над пацанами, ратушами,
над циферблатом Цюриха,
если, конечно, раньше
пуля не раскольцует,

как бы ты ни металась,
впилась браслетка змейкой,
привкус того металла
песни твои изменит —

с неразличимой нитью,
будто бы змей ребячий,
будешь кричать над Нидой,
пристальной и рыбачьей.

1963

Гитара



Меж перца и малаг
под небом наших хижин
костлявый как бурлак
певец был юн и хищен

и огненной настурцией
робея и наглея
гитара как натурщица
лежала на коленях

она была смирней
чем в тайнстве дикарь
и темный город в ней
гудел и затихал

а то как в реве цирка
вся не в своем уме —
горящим мотоциклом
носилась по стене!

мы — дети тех гитар
отважных и дрожащих
между подруг дражайших
неверных как янтарь

среди ночных фигур
ты губы морщишь едко

к ним как бикфордов шнур
крадется сигаретка

1961

Бьет женщина



В чьем ресторане, в чьей стране — не вспомнишь,
но в полночь
есть шесть мужчин, есть стол, есть Новый год,
и женщина разгневанная — бьет!

Быть может, ей не подошла компания,
где взгляды липнут, словно листья банные?
За что — неважно. Значит, им положено —
пошла по рожам, как белье полощут.

Бей, женщина! Бей, милая! Бей, мстящая!
Вмажь майонезом лысому в подтяжках.
Бей, женщина!
Массируй им мордасы!
За все твои грядущие матрасы,

за то, что ты во всем передовая,
что на земле давно матриархат —
отбить,
обуть,
быть умной,
хохотать —
такая мука — непередаваемо!

Париж без рифм



Париж скребут. Париж парадят.
Бьют пескоструйным аппаратом.
Матрон эпохи рококо
продраивает душ Шарко!

И я изрек: «Как это нужно —
содрать с предметов слой наружный,
увидеть мир без оболочек,
порочных схем и стен барочных!..»

Я был пророчески смешон,
но наш патрон, мадам Ланшон,
сказала: «О-ля-ля, мой друг!..»

И вдруг —

город преобразился,

стены исчезли, вернее, стали прозрачными,
над улицами, как связки цветных шаров, висели

комнаты,

каждая освещалась по-разному,
внутри, как виноградные косточки,

горели фигуры и кровати,

вещи сбросили панцири, обложки, оболочки,
над столом

коричнево изгибался чай, сохраняя форму чайника,
и так же, сохраняя форму водопроводной трубы,
по потолку бежала круглая серебряная вода,

в соборе Парижской богородицы шла месса,
как сквозь аквариум,
просвечивали люстры и красные кардиналы,
архитектура испарилась,
и только круглый витраж розетки почему-то парил
над площадью, как знак:
«Проезд запрещен»,
над Лувром из постаментов, как 16 матрасных пружин,
дрожали каркасы статуй,
пружины были во всем,
все тикало,
о Париж,
мир паутинок, антенн и оголенных проволочек,
как ты дрожишь,
как тикаешь мотором гоночным,
о сердце под лиловой пленочкой,
Париж
(на месте грудного кармашка, вертикальная, как рыбка,
плыла бритва фирмы «Жиллет»)!
Париж, как ты раним, Париж,
под скорлупою ироничности,
под откровенностью, граничащей
с незащищенностью.
Париж,

в Париже вы одни всегда,
хоть никогда не в одиночестве,
и в смехе грусть,
как в вишне косточка,

Париж — горящая вода,
Париж,
как ты наоборотен,
как бел твой Булонский лес,
он юн, как купальщицы,
бежали розовые собаки,
они смущенно обнюхивались,
они могли перелиться одна в другую, как шарики ртути,
и некто, голый, как змея,
промолвил: «Чернобурка я»,

шли люди,
на месте отвинченных черепов,
как птицы в проволочных
клетках,
свистали мысли,

монахиню смущали мохнатые мужские видения,
президент мужского клуба страшился разоблачений
(его тайная связь с женой раскрыта,
он опозорен),

над полисменом ножки реяли,
как нимб, в серебряной тарелке
плыл шницель над певцом мансард,
в башке ОАСа оголтелой
дымился Сартр на сковородке,
а Сартр,
наш милый Сартр,
задумчив, как кузнечик кроткий,
жевал травиночку коктейля,
всех этих тайнств
мудрый дух

— О! о! —

последнее, что я помню, это белки,
бесстрастно-белые, как изоляторы,
на страшном,
орущем, огненном лице...

«...Мой друг, растает ваш глянсе...»

Париж. Друзья. Сомкнулись стены.
А за окном летят в веках
мотоциклисты
в белых шлемах,
как дьяволы в ночных горшках.

1963

II

Той актрисе все опостылело,
как пустыня ее Потылиха!
Подойдет, улыбнуться силась:
«Я в кого-то переселилась!

Разбежалась, как с бус стеклярус.
Потерялась я, потерялась!..»

Она ходит, сопоставляет.
Нас, как стулья, переставляет.
И уставится из угла,
как пустынный костел гулка.

Машинально она — жена.
Машинально она — жива.
Машинальны вокруг бутылки,
и ухмылки скользят обмылками.
Как украли ее лабазно!..

А ночами за лыжной базой
три костра она разожжет
и на снег крестом упадет

потрясенно и беспощадно
как посадочная площадка

пахнет жаром смолой лыжной
ждет лежит да снежок лизнет
самолет ушел — не догонишь

Ненайденыш мой, ненайденыш!
Потерять себя — не пустяк,
вся бежишь, как вода в горстях...

III

А вчера, столкнувшись в гостях,
я увижу, что ты — не ты,
сквозь проснувшиеся черты —
тревожно и радостно,
как птица, в лице твоём, как залетевшая
в фортку птица,
бьет пропавшая красота...

«Ну вот,— ты скажешь,— я и нашлась,
кажется...
в новой ленте играю... В 2-х сериях...
Если только первую пробу не зарубят!..»

1962

Монолог актера



Провала прошу, провала.
Гаси ж!
Чтоб публика бушевала
и рвала в клочки кассирш.

Чтоб трусиками, в примерочной
меня перематюгав,
зареванная премьерша
гуляла бы по щекам!

Мне негодование дорого.
Пусть мне бы в лицо исторг
все сгнившие помидоры
восторженный Овощторг!

Да здравствует неудача!
Мне из ночных глубин
открылось — что вам не маячило.
Я это в себе убил.

Как девочка после аборта,
пустой и притихший весь,
люблю тоскою аортовой
мою нерожденную вещь.

Прости меня, жизнь.
Мы — гости,
где хлеб и то не у всех,
когда земле твоей горестно
позорно иметь успех.

Вы счастливы ль, тридцатилетняя,
в четвертом ряду скорбя?
Все беды, как артиллерию,
я вызову на себя.

Провала прошу, аварии.
Будьте ко мне добры.
И пусть со мною
провалятся
все беды в тартарары.

1966

Послесловие

●

Андрей Вознесенский — поэт одаренный, своеобразный. Ему присуще острое чувство современности, напряженный лиризм, присуща тяга к многозначности образов, к сжатым, подобно стальной пружине, ассоциациям, к неожиданным, часто гротескным, метафорам. Он не похож ни на кого другого и своеобразностью своей иногда даже задорно бравирует. Но работает он серьезно, много, упрямо и выпустил уже четыре сборника стихов — «Парабола» (1960), «Мозаика» (1960), «Треугольная груша» (1962), «Антимиры» (1964). Несомненно одно — творчески Андрей Вознесенский во многом определился и занял свое особое место в сегодняшнем литературном процессе. В чем же существо его своеобразия, новизны?

Поиски собственных путей в поэзии отнюдь не привели А. Вознесенского к отрыву от классической традиции, но заставили лишь творчески, по-своему, ее осмыслить. В семье поэта знали и ценили русское искусство, русскую культуру. Отец его — крупный инженер, гидротехник, один из тех, кто проектировал Братскую ГЭС и другие сибирские стройки, участвовал в восстановлении Днепрогэса. В юности Андрей Вознесенский — он родился в 1933 году — был увлечен исканиями в области архитектуры. Он успешно закончил архитектурный институт. Серьезно занимался живописью, учился у акварелиста Бехсева и прежде всего у Дейнеки. Затем пришли литературные увлечения: в поэ-

зии — Маяковским, Пастернаком, поэтом-антифашистом Гарсиа Лоркой, в прозе — Гоголем.

Позднее Николай Асеев очень точно определил родословную Вознесенского, сказав о его стихах: «...уже если отыскивать черты родоначального поэтического свойства, то это больше всего напоминает стилистическую манеру Маяковского: тот же неуспокоенный, нетрадиционный стих, то же стремление выразить мысль своими средствами, не заимствуя их у других, свободное обращение со строкой в ее ритмическом и синтаксическом разнообразии». И, видя здесь «не совпадение, а продолжение культуры новой поэзии», старший художник подчеркивает: «Родственность Вознесенского Маяковскому несомненна. И не только в необычном строе стиха — она в содержании, в глубокой ранимости впечатлениями...» Главное для Асеева в том, что напряженный, страстный лиризм в стихах у младшего поэта, как и у Маяковского, имеет в основе новый взгляд на действительность, на человеческие отношения, на творчество.

Духовно сформировалось уже поколение людей, которое выросло в социалистическом обществе, с детства дышало его воздухом и о многих уродствах старого классового общества имеет лишь книжное представление. Это поколение непримиримо в своем неприятии всего реакционного, отжившего, несовместимого с его представлениями о жизни, тормозящего развитие истинно человеческих условий существования. И драматизм, столь присущий лирике А. Вознесенского, возникает там, где происходит столкновение этого нового отношения к миру с реальными противоречиями современной действительности, обусловленными тем, что старый несправедливый общественный порядок еще существует на земном шаре. Недаром А. Вознесенский назвал свою новую книгу — «Ахиллесово сердце». Ведь и вправду самое раннее, незащищенное у поэта всегда его сердце — откликающееся на все горести и все боли человечества.

В поэзии Андрея Вознесенского четко пролегает граница между тем, что любит поэт, и тем, что он всеми силами души

ненавидит, что отрицает и что защищает... Вот он бродит по Парижу и видит, как уличный художник рисует свои картины прямо на тротуаре. Поэта ранит издевательство над искусством, над мастером, которому, почти не глядя, как нищему, «пешеходы бросают мзду», топчут ногами его произведения. И драматизм сцены усиливается тем, что среди шаркающих подошв, каблуков, «как рана», на асфальте выступает лицо Маяковского: «Это надо ж — рвануть судьбой, чтобы ликом, как Хиросимой, отпечататься в мостовой!» Безумный собственнический мир чреват Хиросимой искусства: ведь он несет гибель всему чистому, возвышенному, прекрасному. Здесь в буржуазном обществе все предмет купли и продажи — искусство, родниковая кристальность чувств, красота реального мира. Поэт не может примириться ни с трагической гибелью актрисы Мерлин Монро, исторгованной, распроданной ловкими продюсерами:

Невыносимо, когда раздеты
во всех афишах, во всех газетах,
забыв,
 что сердце есть посередке,
в тебя завертывают селедки,
глаза измяты,
 лицо разорвано... —

ни с оскорблением самого имени — женщина, ее чистоты и нежности во время эстрадных кабацких представлений («Стриптиз», «Париж без рифм»), когда она вынуждена выступать перед толпой, ничем не защищенная от пошлости и грязи: «...и она стала сдирать с себя не платье, — нет — кожу!...»

...последнее, что я помню, это белки
бесстрастно-белые, как изоляторы
на страшном,
 оружьем, огненном лице...

Лирика А. Вознесенского — страстный протест против опасности духовной Хиросимы, то есть уничтожения всего подлинно

человеческого в мире, где власть захватили вещи, а «на душу наложено вето».

Напряженная образность, трагизм непримиримых контрастов, на которых эта образность зиждется,— порождены у поэта самой непримиримостью отрицания, тем высоким негодованием, с каким он восстает против любых проявлений античеловечности. Отчетливо звучит в лирике Андрея Вознесенского призыв к защите всего прекрасного, что есть в окружающем нас мире — от разрушительной радиации бездушия, жестокости. Об этом говорит он в стихах: «Охота на зайца», «Отзовись!», «Первый лед», «Бьют женщину». Из бытового, даже приземленного эпизода в последнем из стихотворений возникает поэтически обобщенный образ женщины. Веками подавлял ее быт, власть мужчины, сковывали пути мещанства: «Но чист ее высокий свет, отважный и божественный»,— страстно утверждает поэт, даже видя свою героиню униженной и растоптанной тем, кто стремится поработить ее.

Гнев наполняет сердце лирика, он угадывает в этой расправе — «упоенье оккупанта», попытку подчинить себе вольную красоту человеческой жизни. Но так не должно быть, да и невозможно: поруганная женщина остается свободной:

Она как озеро лежала
стояли очи как вода
и не ему принадлежала
как просека или звезда...

Непримиримость ко всем и всяческим проявлениям антигуманизма, какие бы формы он ни принимал, обретает у Андрея Вознесенского точный исторический адрес и нередко предстает в его творчестве как тема открыто антифашистская. Так было, начиная со стихотворения «Гойя», в котором образ художника вырастает в символ высокой человечности. Голос Гойи не только вопль страдающего народа, это и голос гнева, протеста против ужасов войны, против зверств реакции. Новые стихи поэта сильно и страстно продолжают эту линию. Среди них примечательно

«Зов озера». Спокойное, тихое озеро — творение рук человеческих, но рук кровавых, фашистских. Да, здесь были захоронены, а затем залиты водой жертвы нацистов — замученные и убитые ими люди из гетто, из окрестных городков и деревень, люди разных национальностей, старые и юные. Поэт видит, ощущает их присутствие сквозь толщу озерной воды: «...ты пощупай ее ладонью — болит!» Нет, нельзя отдыхать на берегу *такого* озера или мирно радоваться «славному клеву», плывя в плоскодонке по его поверхности. Скрытая сущность явлений обретает в стихотворении сказочно-апокалипсическую форму. Герою стихотворения Володьке Кострову видится, что подымается из глубин «чудо-юдо озерных вод», рыба — «с гневным лицом мадонны», символ «боли и печали», подымается, чтобы напомнить всем живущим сегодня о старой трагедии. И вновь приходят на память горькие строки того раннего стихотворения «Гойя», где говорил поэт: «Я — Горе. Я — голос войны, городов головни на снегу сорок первого года». Да, отрицание античеловечности у Андрея Вознесенского исторически конкретно и воинствующе мужественно. В его стихах звучит голос и тех, кто выдержал смертную борьбу с нацизмом, кто по праву мог сказать: «...звнил залпом на Запад — я пепел незваного гостя!» — а также и голос нового поколения антифашистов, ни на миг не забывающих об угрозе новой, теперь уже атомной войны, нависшей над миром.

Этот голос явственно слышен и в поэме «Оза». Основной мотив ее — стремление защитить свою юную любовь от угрозы чудовищной войны, от той хищной, обездушенной цивилизации, что грозит уничтожением миру, человечеству, отдельной личности.

Поэма начинается гимном «Аве, Оза», полным высокого напряжения чувств: «Слушаю дыхание Твое», — говорит лирический герой любимой женщине и, переполненный глубокой к ней нежностью, восклицает: «Дай тебе не ведать потрясений...» А обращаясь к грозному миру, обступающему ее, молит: «Вы, микробы, люди, паровозы, умоляю — бережнее с нею...» Вместе с тем чувство это не только самоотверженно, но активно и мужественно:

«Дай возьму всю боль твою и горечь». Герой поэмы признается, что еще совсем недавно не знал ни силы, ни глубины своей любви, ни тех великих обязанностей, какие налагает она на человека.

Но тревожен, зыбок, странно двойствен мир, окружающий влюбленных. И зыбкость, туманность образа героини поэмы, этой сказочной Зои-Озы, возникает из противоречивости самого бытия нашей планеты. «Может, ее называют Оза?» — спрашивает себя поэт. Его героиня принадлежит реальности, она чудесное сочетание атомов, как и все в природе. Но ведь это «сочетание частиц» так легко разрушить, стоит атомному взрыву «изменить порядок!». И вот уже поэту чудится, что любимая

тает, ну как дыхание,
так за нее мне боязно!

И он страстно предостерегает человечество: «Поздно ведь будет, поздно!» Вот почему Зоя-Оза видится герою поэмы птицей, летящей вольно и высоко в поднебесье, в то время как за нею снизу уже охотится ружейное дуло.

Ты мне снишься под утро,
как ты, милая, снишься...
...ты летишь Подмосковьем,
хороша до озноба,
вся твоя маскировка —
30 метров озона!

Кто же и что угрожает героине поэмы? И тут возникает сатирический образ «мира навыворот». Поэт видит его различные проявления. Но особую остроту отрицания вызывает мир «обездушенных роботов», тех, кто готов ради бизнеса ввергнуть человечество в ужас и муки атомной войны. Лирическое повествование все время прерывается главами, в которых Андрей Вознесенский дает простор фантастически причудливому гротеску, рисуя деятелей и апологетов атомного «эксперимента». Одним мечталось «разрезать земной шар по экватору и вложить одно полушарие в другое... При этом, правда, половина человечества погибнет, но зато

вторая вкусит радость эксперимента». Другие хотели бы уничтожить все — и «тайнство творчества» — «К чему поэзия?» — и опустошить внутренний мир человека: «Будут роботы. Психика — это комбинация аминокислот...» Поэт иронически и так же гротескно рисует их мир, где «связи остались, но направление их изменилось». Здесь все перепутано, все шиворот-навыворот, словно в злой сказке: «Деревья лежали навзничь, как ветвистые озера», а «глубина колодца росла вверх, как черный спол прожектора».

Уродлив и ненавистен герою поэмы этот «навыворотный мир», где утеряны все подлинные чувства, отвергнуты глубина и сложность человеческой мысли, затоптаны и осмеяны нежность и чистота.

...Некогда думать, некогда,
в оффисы — как в вагонетки,
есть только брутто, нетто —
быть человеком некогда!

Этому-то гротескному, обезчеловеченному миру и противопоставляет поэт юность земного шара, которая видится ему в зареве Октября, «бешеном ритме революции! Восемнадцатилетии командармов». Он говорит с гордостью о родной стране: «Мы — первая любовь земли».

Полный лиризма, острой, ранящей сердце нежности, возникает в поэме образ другого, «естественного» мира, подлинной человечности.

Край мой, родина красоты,
край Рублева, Блока, Ленина,
где снега до ошеломления
заораживающе чисты...

И тема любви в поэме делается все глубже, многограннее, сложно, причудливо переплетаясь с исторической темой противоборства двух антимиров. Поэт чувствует — плацдармом их борьбы стали не только поля сражений, но и души людей.

В поэме разворачивается острый, непримиримый спор лирика и с «зарубежным другом», и с модернистом — «разочарованным»

скими циклами. В первом разделе — «Ахиллесово сердце» — собраны им новые стихи, написанные за последнее время. Затем идет поэма «Оза» (1964). Третий раздел — «Невыносимо» — снова лирика, лирика отрицания «навыоротного мира»: антигуманизма, жестокости, равнодушия, всего, что грозит человеческой личности. Четвертый раздел — поэма «Лонжюмо» — говорит о величайшем гуманизме революции, о ее созидательных силах. Пятый — «Года световые» — биография лирического героя, хронология душевного возмужания. Шестой — поэма «Мастера» и заключительный раздел — взволнованное повествование о чуде слияния двух душ, о любви, которая включает в себя весь мир с его страстями, думами, надеждами.

Любовная лирика поэта неизменно оказывается шире и глубже прямого своего назначения. И происходит это потому, что энергия и непримиримость отрицания всегда у Андрея Вознесенского неразделимы с энергией и страстностью утверждения.

Обращение поэта к сложному и прекрасному «чуду любви» неразрывно связано для него с благоговейным удивлением перед неповторимостью человеческой личности, ее великими внутренними возможностями, ее творческими силами.

Лирический образ героини у Вознесенского зачастую сливается с природой, воплощает ее наивную и добрую красоту. Видится героиня поэту то «как мокрая ветка ольховая», то как «несмышлениш олешка» или «горный родничок», то оборачивается лесной росой: «...ты — живая вода на губах на листке». В «Балладе-яблоне» поэтический образ этого полного слияния, растворения лирической любимой в природе, принимает вещную, материальную форму. Поэт прибегает к фольклорной, сказочной традиции. Ведь в сказке или мифе деревья говорят человеческими голосами, испытывают человеческие чувства, являются полулюдьми, полурастеньями, живут общей жизнью с людьми. Поэтому и происходит в балладе чудо зачатия ребенка деревцем. Все это для поэта единый процесс происходящего в природе великого и непрерывного обновления.

Однако видит он в любви не только стихийное начало, но и всегда истинно человеческое: высокая духовность близости дополняет и освящает страсть, ее радости. Любовь предстает в лирике А. Вознесенского как величайшее чудо полного слияния мыслей, желаний, душ двух человеческих существ. Поэт говорит о любимой: «Я весь тобою пропитан, лесами твоими, тропинками. Читаю твое лицо, как легкое озеро».

Поэтому-то так протестует лирический герой Вознесенского против всяческой лжи, неистинности в человеческих отношениях, поэтому предостерегает любимую от растраты чувств: «...потерять себя — не пустяк — вся бежишь, как вода в горстях...»

Тема растраты внутренних богатств человеческой личности — одна из важных тем лирики Андрея Вознесенского. Она особенно драматично звучит в стихотворении «Плач по двум нерожденным поэмам». Поэт говорит здесь о тех огромных духовных возможностях каждого человека, которые он может или осуществить, или убить в себе. Стихотворение превращается в реквием всему неосуществленному, неродившемуся: «Зеленые замыслы, встаньте как пламень», — восклицает он и горько провозглашает «вечная память» всему, чему не суждено было совершиться, всему, не выполненному человеком. Он восстает против духовных «самоубийц», против тех, кто «саморастратил святые крупички», и утверждает свою веру в истинных творцов — «людей упрямого нрава», кто не гасит в себе творческого огня, для кого «чем траурней шлаки, тем пламенней плавка».

Творчество, и только творчество — в любых областях жизни, — может явиться оправданием человеческого бытия. Поэт не устает восторгаться могучей, неповторимой красотой природы, но не меньше волнуют его сердце создания талантливых мастеров. Древние и прекрасные Кижские или храм Василия Блаженного на Красной площади, ультрасовременные города, их мосты, здания, аэропорты. Глубочайшее волнение наполняет сердце поэта, когда он становится свидетелем проявлений подлинной, ничем не скованной мощи человеческой мысли, человеческого духа. Творцы

ность формы — многозначность и широта лирических ассоциаций, гротескность сатирических образов, подчеркнутое своеобразие самого видения мира. Именно потому иногда и возникает искушение зачислить поэта в «формалисты», искать в его стихах сюрреалистические влияния. Но всякая ли забота о своеобразии формы столь опасна, чтобы с роковой неизбежностью увлечь художника в бездны модернизма? Решить это можно, лишь спросив себя: ведет ли острота и оригинальность формы к отрыву изображения от реального предмета, явления, процесса или позволяет открыть какие-либо его новые, существенные и вполне реальные стороны? В книге Юрия Олеши «Ни дня без строчки» есть любопытный пример, раскрывающий суть дела. Однажды художник записал обыкновенную уличную сценку: «Под падающим и задерживающимся на земле снегом сокрыта черная скользота. Люди грохаются всей силой тяжести прямо на легкие. Вдруг представишь себе в сгустке пальто, валенок и платка этот алый пульсирующий куст — и делается страшно». Что же это? Сюрреалистический образ? Изыск?.. Но почему же? Ведь невидимый глазу «алый пульсирующий куст» так же реально существует, как видимые валенки, толстые зимние пальто и теплые платки. Представив зримо этот трепетный «алый куст», художник позволил себе восхититься его красками, его совершенством и испугаться той его хрупкости, которая так разительна в столкновении с грубо материальным миром: чернотой скользкого льда и промерзшей затвердевшей земли. Образ непривычен, но вместе с тем он вполне конкретен, даже прозаичен — ведь он словно сошел с анатомического плаката. Он сложен, но не оторван от реальности, не противопоставлен ей.

Образная ткань произведений Андрея Вознесенского всегда осязаемо материальна. Поэт видит, как за окошком «в юном инее лежат поля из алюминия», — вызывая ощущение металлической жесткости и холода земли в первые зимние утра. Кот у него, «как радиоприемник, зеленым глазом ловит мир». И здесь уловлена та внимательная пристальность, какая характерна и для настроенного кошачьего глаза, и для яркого глазка радиоиндикатора.

А рядом буйство красок, переплетение охряных и золотистых пятен, бликов,—соединение, казалось бы, не соединимого: «Базары — пожары. Здесь огненно, молодо Пылают загаром Не руки, а золото. В них отблески масел и вин золотых».

Так гередает он радостное фламандское изобилие плодов земных, игру реального мира.

Сложность ассоциативных связей достигается у А. Вознесенского охватом многих сторон одного явления, стремлением сжать, спрессовать впечатления. Любимая — та, единственная, которую так трудно разыскать в жизни,— для поэта связывается с образом дрожащей на ветру антенны, где-то там на далекой неведомой звезде, затерявшейся в космическом пространстве: «О, как ты звенела во мраке Вселенной упруго и прямо, как прутик антенны! А я все лечу, приземляясь по ним — Земным и озябшим твоим позывным». Каждый из нас видел белый след самолета высоко в небе, но не каждый заметил, что при заходе солнца след этот может стать красным. А поэт увидел, и тревога наполнила его сердце: «Притаился закат внизу, полоснувши по небосводу красным следом от самолета, точно бритвою по лицу!»

Может быть, это военный самолет и след его предвещает кровавые беды, кто знает... Социальное звучание пейзажного образа достигнуто скупыми и даже нарочито прозаичными сравнениями — самолет резанул небо, «точно бритвою по лицу».

Никто не станет отрицать, что сама по себе необычность и сложность поэтического образа — отнюдь не порок. Ведь совсем не так уж все просто в нашем сложном мире. Важно знать, вызвано ли усложнение образной системы действительной необходимостью, самой сутью содержания. Обязательно ли оно? Андрея Вознесенского уже весьма привычно упрекают в стилевой, образной *усложненности*. Но если судить о его стихах без скидок, может быть, следует упрекнуть их автора совсем в ином грехе: в том, что он подчас *упрощенно* решает поставленные им себе сложные творческие задачи.

Присущий ему напряженнейший лиризм поэт, боясь, очевидно, чтобы стих его не прозвучал слишком нежно и задушевно, то и дело обрывает резкими нарочитыми прозаизмами. Но именно здесь-то и нужна особая отточенность мысли, взвешенность слова, иначе легко очутиться, вопреки своей воле, рядом с тем самым «модерным» циником, который так ненавистен поэту. Надо упорно все заново искать, разнообразить своеобычность, мужественность интонации.

Творческие поиски важны и существенны, если при этом даже есть известные поэтические издержки. Андрей Вознесенский — ищущий поэт: он исследует все новые ритмы, задумывается над возможностями лирического образа, расширяет звучание слова. И едва ли нужно преграждать путь подобным поискам. Важно только, чтобы из творческой лаборатории в стихи поэта попадало все меньше, хотя бы даже и любопытных, но подсобных «экзерсисов». В лучших своих произведениях Андрей Вознесенский проявляет необходимую творческую строгость.

И именно в них он сумел выразить страстную веру в человека и активное неприятие антигуманизма — враждебного нам «навыоротного мира» — веру и неприятие, которые составляют отличительную черту нашего современника — гражданина нового общества.

Л С К О Р И Н О

Содержание



Ахиллесово сердце

Плач по двум нерожденным поэмам	5
«В дни неслыханно болевые...»	9
Неизвестный — реквием в двух шагах, с эпилогом	11
Из Ташкентского репортажа	15
Зов озера	20
Замерли	23
«Мы — кочевые...»	25
Баллада-яблоня	27
Из закарпатского дневника	30
Песенка травести из спектакля «Антимиры»	32
Эскиз поэмы	33
Записка Е. Яницкой, бывшей машинистке Маяковского	40
«Нас много. Нас может быть четверо...»	41
Больная баллада	43

Оза. Тетрадь, найденная в тумбочке Дубненской гостиницы (поэма)

«Аве, Оза. Ночь или жилье...»	47
I	49
II	51
III	54

IV	56
V	59
VI	60
VII	62
VIII	64
IX	66
От автора и кое-что другое	68
«...А дальше запись лекций начиналась...»	70
X	71
XI	76
XII	78
XIII	81
XIV	82

Невыносимо

Осень в Сигулде	85
Охота на зайца	88
Латышский эскиз	92
Тишины!	94
Лобная баллада	96
«Умирайте вовремя...»	98
«Прости меня...»	99
Стансы	102
«Матери сиротеют...»	104
В магазине	105
Монолог битника	107
Монолог Мерлин Монро	109
Ночь	113
Бьют женщину	114

Донжюмо (поэма)

Авиавступление	119
I	122
II	124
III	126
IV	128
V	131
VI	132
VII	134

Года световые

Флорентийские факелы	137
Пожар в Архитектурном институте	140
Осенний воскресник	142
Торгуют арбузами	143
Мастерские на Трубной	144
Туманная улица	146
Сибирские бани	148
На плотях	150
Тайгой	152
Сентябрь	154
Вечер на стройке	155
Баллада 41-го года	156
Рублевское шоссе	158
Кроны и корни	159
Поют негры	161
Автопортрет	163
Баллада работы	164
Секвойя Ленина	167
«Вас за плечи держали...»	170
Лейтенант Загорин	171

Первый лед	173
Последняя элэктричка	174
Сирень «Москва — Варшава»	176
Футбольное	178
Маяковский в Париже	180
Киж-озеро	183
Римские праздники	186
Баллада — диссертация	189
Монолог биолога	191
Противостояние очей	193
«Я в Шушенском...»	195
«Я — семья...»	198

Мастера (поэма из семи глав с реквиемом и посвящениями)

Первое посвящение	201
Второе посвящение	203
I	205
II	206
III	208
IV	209
V	211
VI	213
VII	214
Реквием	215

2 - 1 > 3 000 000 000

Ночной аэропорт в Нью-Йорке	219
Вступление к поэме «Треугольная груша»	222
Антимиры	224
Мотогонки по вертикальной стене	227
Лирическая религия	229
«Благословенна лень, томительнейший плен...»	231

Новогоднее письмо в Варшаву	233
Стога	235
«Лежат велосипеды...»	237
«Жизнь моя кочевая...»	239
«Ты пролетом в моих городках...»	241
Гитара	242
Бьет женщина	244
Париж без рифм	247
Потерянная баллада	
I	252
II	253
III	254
Монолог актера	255
Гойя	257
<i>Л. Скорина. После словие</i>	258

В о з н е с е н с к и й
А н д р е й А н д р е в и ч
А Х И Л Е С О В О С Е Р Д Ц Е



Редактор *З. К о н д р а т ь е в а*
Художественный редактор
Ю Б о я р с к и й
Технический редактор
Л. С у т и н а
Корректор *Г. С у р и с*

Сдано в набор 20/IV 1966 г.
Подписано к печати 24/VIII
1966 г. А16162. Бумага типогр.
№ 1. Форм. 70×108¹/₃₂. 8,75 печ.
л. 12,25 усл. печ. л. 7,99 уч.-
изд. л.+1 вкл.=8,05 л. Зак.
№ 1590. Тираж 100 000 экз.
Цена книги в ледерине 59 коп.,
в штапельном переплете
75 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66,
Ново-Басманная, 19.



Полиграфкомбинат им. Якуба
Коласа Комитета по печати
при Совете Министров БССР,
Минск, Красная, 23.



